

Светлана Бондарева

Феткино детство

Повесть

Москва
Издательство «Бит Принт»
2023

Бондарева Светлана

Феткино детство / повесть. – Светлана Бондарева. – Москва : Издательство «Бит Принт», 2023. – 140 с.

© Светлана Бондарева, 2023
© Издательство «Бит Принт», 2023

ФЕТКИНО ДЕТСТВО

Повесть

Посвящаю моему отцу

Снег сыпет, сыпет. Ветер. Метель. И так – день, другой. Месяц за месяцем. И домик маленький заметает до крыши. И ты просыпаешься в темноте, а темно от снега, который до самой, самой крыши. И только капелька света пробивается в окна. И ты чувствуешь себя маленьким медвежонком в берлоге. А, когда хочешь выйти из дома, то открываешь дверь, и на тебя сыпется груда снега, засыпая тебя с ног до головы. Мой папа самый умный! Ведь другие открывают дверь – и не могут открыть! То есть она просто не открывается, потому что мешает снег. Потому хорошо, когда дверь открывается ко мне, потому что так сделал папа. И ты, осыпанный снегом, выкарабкиваешься наверх, идешь важным господином по снегу, который такой плотный, что даже взрослые по нему ходят и не проваливаются. А еще ты важен, потому что ты выше домов и видишь все, все вокруг! Но не дома, а их крыши! И горка у тебя домашняя! Прямо – в сени!

А сегодня праздник в клубе – «Елка»! И горка прямо – в клуб! Раз – и ты на елке! Все дети рассказывают стишки, а тебе страшно – рот не открывается от страха. А мама тебе шепчет: «Мишка косолапый по лесу идет...» И зна-

ешь ты этого «Мишку», но рот не открывается все равно. А у Нинки он открывается бойко: «Миска косолапый по лесу идет, Сыски собирает, песенку поет». И она получает свой приз – резинового медвежонка. А я не получаю ничего... Праздник идет к концу, дед Мороз вручает тебе подарки – целую тряпичную сумку конфет и резинового зайца, но не за «Мишку», а просто... За то, что ты пришла.

Мама уходит на работу. А я после «Елки» остаюсь и смотрю кино – сказку «Король-Олень». И эта шляпа у волшебницы – с вуалью до пола – просто сводит тебя с ума. И ты идешь домой и представляешь эту шляпу с вуалью до самого пола и себя под ней, а на лице белая, пушистая вуаль из снега... А ты все идешь, и идешь, и идешь...

И вдруг – натыкаешься лбом на чей-то живот, поднимаешь глаза и видишь – тетя Настя... Глаза тети Насти не понимают, почему я здесь? Ведь после ее двора заканчивается поселок! Потом идет поле и Лысая гора. Я смотрю по сторонам и даже крыш из-за метели не вижу. Тетя Настя берет меня за руку и отводит домой. Говорит, что я заблудилась.

А на следующее утро ярко светит солнце. Я встаю и напрямик иду к тете Розе – она библиотекарь. Скатываюсь в библиотеку и говорю тете Розе, что хочувзять у нее книжки. Она спрашивает меня:

- Как тебя зовут?
- Фета!
- А сколько, Фета, тебе лет?

Я ей показываю четыре пальца. Тогда она меня спрашивает:

- А ты умеешь читать?

Я отвечаю: «Не-а...» Тогда тетя Роза отправляет меня к маме, чтобы она научила меня читать. Я выкарабкиваюсь из библиотеки, прохожу несколько шагов, сажусь на попу и скатываюсь на почту, потому что моя мама начальник на ней. Захожу и смотрю, как мама перебирает письма и не обращает на меня внимания, грустно прошу рубль и выкарабкиваюсь из почты. И скатываюсь в магазин. Покупаю шоколадную «Аленку» и хрущу. Люблю хрустеть «Аленкой» на морозе... И не на морозе тоже. Солнце ярко светит, я кружусь, на мне шляпа с вуалью до пола, как в сказке. Потом появляется мамина шапка, потом лицо, потом плечи – и вся она подходит ко мне наверх, берет меня за шоколадно-коричневую руку, и мы идем с ней на обед между крышами домов, и блестящий снег режет нам глаза.

Дома, как в берлоге мама открывает огромный чугунок, набитый набухшей, уже сварившейся и как-то особенно пахнувшей пшеницей, и уходит с ней в сарай – кормить свиней. Возвращается и грустно рассказывает, что хрюшка, кроме пшеницы вареной, ест совсем невареных, а наоборот, даже совсем живых, своих же поросят – я ничего не понимаю, но слезы сами катятся по моим щекам... Потом мы обедаем вкусным, красным борщом и ложимся спать под пластинку, которую мама называла «Аида». Маме очень хорошо лежалось со мной под «Аиду», а мне с ней.

А потом я просыпаюсь, нет ни мамы, ни «Аиды». Тогда я ставила пластинку, которую мама называла «Штраус», навязывала на талию все мамины платки и танцевала. Хлоп! Ой, что-то хлопнуло по моей попе... Поворачи-



ваюсь и вижу папу. Мой папа самый умный, самый добрый, но самый строгий. Когда я так танцую, он хлопает меня по попе. А еще он очень веселый. Он берет гармошку, и что-то веселое наяривает на ней, и каждый раз просит меня петь. Я пою: «Ля-ля-ля...» А он возмущенно: «Почему без слов?!» А я всегда не знаю, что петь...

Еще папа очень грустный. Смотрит на озеро, на камни и на Лысую гору и говорит: «Как же я хочу в Россию...» И вспоминает, как он был маленький, жил в России и там была война. А он не ходил ни в клуб, ни в гости, ни за шоколадом «Аленка», потому что босиком зимой он мог добежать только до соседа Лешки. «Аленку» он тоже не ел и даже красный борщ не ел, а ел суп из крапивы – и все. И так всю войну...

А мама рассказывала, что им давали кожу от хрюшек, чтобы они делали себе тапки, а они ее ели. И тоже потом

ходили босиком. И еще она очень далеко, дальше, чем наш клуб, а вообще – в соседнюю деревню ходила в школу. Один раз возвращалась домой. Было уже темно. И в темноте заблестело два кружка. Пришла домой и своей маме рассказала про блестящие кружки. А ее мама сказала: «Дура, это был волк. Больше не пойдешь в школу!» Но мама моя все равно пошла. Потому что упрямая была. Еще она работала и училась. Работала она свинопасом. Свины разбежались в разные стороны, а она за ними бежала. Не знала, как их собрать. Они плыли через речку, и она за ними прыгала в воду.

Мою маму выгнали из России, когда ей было два года. Пришли люди, назвали дедушку и бабушку кулаками, а маму мою взяли за ногу, и швырнули через забор, и она полетела. Я думаю, это очень страшно лететь через забор, когда тебе всего два года. Когда мама мне это рассказывала, я посмотрела на свои кулачки. И не понимала, что в кулаках моего деда этим дядькам не понравилось. Мне нравились мои кулачки, когда я в них что-то держу – ничего не упадет.

Вечером папа с мамой уходили в кино. А мы с братом слушали по радио сказку про трех поросят Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Под эту сказку я и засыпала. А солнце заходило за Лысую гору, которую папа не любил. Я не понимала – почему папа не любил ее? Ведь эта гора была волшебная – половина была на самом деле лысая, другая половина вся в соснах, в деревьях. А куда заходило солнце – там были дремучие леса и всякие чудовища в этих дремучих лесах. И ходить за эту гору нельзя – Опасно. Хотя я все равно хотела туда пойти.

А потом было лето. Сладко пахло травой. Бежишь по ней, а кузнечики – от тебя. Потом затаишься – хватъ и он у тебя в руке. А потом в стеклянной банке. Сверху крышка с дырочками. И уже он так высоко не прыгнет... Со стрекозами и бабочками сложнее. Их голыми руками не возьмешь. Нужен сачок, а у меня его нет. Я очень люблю кузнечиков, стрекоз, бабочек, цыплят и маму с папой. Когда папа приходит с работы, я его крепко-прекрепко обнимаю за шею. Он даже мне говорит: «Какая сильная... Раз-да-вишь меня». Я всех, кого люблю, крепко обнимаю. Беру цыплят на ручки и крепко-крепко обнимаю. А они не понимают, и не выдерживают моей любви... Мама меня за это бьет по рукам и ставит в угол, а я все равно их люблю.

Смотрю, что-то Ванька рядом копошится. Приносит из сарая солому. Еще приносит. И получается горочка. Потом уходит домой. Возвращается. Смотрит на меня хитрыми глазами. Берет за руку и усаживает меня на эту горочку. Я сижу на соломе, смотрю на него, ничего не понимаю. Он вытаскивает из кармана спички, чиркает и подносит к соломе. Теперь я все понимаю – резко подскакиваю, бегу и думаю: «Волосы у меня желтые, но я все-таки не солома...»

Побежала к Сашке. Сашка сидел на зеленой травке и думал. Я спросила его – чего он задумался.

– Не мешай мне, я зиму вспоминаю. Как же зимой хорошо – в снежки можно поиграть. Снежную бабу можно слепить. На саночках покататься с горки.

Я начала спорить, что летом лучше. Сашка не согласался и предложил мне в зиму поиграть.

– Давай! А как мы будем играть?..

– Неси зимнюю одежду. Придешь – я уже в шубе буду стоять!

Пошла домой, нашла только шапку и вернулась обратно к Сашке. Прибежала, а он действительно уже в шубе стоит.

Я развязала шапку и сняла ее.

– Саш, а мне жарко в зиму играть...

– Вот ты всегда так!

Сашка достал медведя надел на него мою шапку, потом на Машину куклу. Потом сбросил шубу, и мы пошли на речку. Стали брызгаться водой. Нам было весело, и без снежков – в них мы зимой поиграем!

Мама пришла на обед, принесла много денег, чтобы потом разнести их пенсионерам. Я подумала, что пока мама обедает и отдыхает после обеда, я успею поиграть с этими денежками в магазин. Взяла деньги и пошла к Нинке. У Нинки было много ребят во дворе. Я обрадовалась – вот это будет настоящий магазин! Мы быстро приготовили много пирожных, сделали большой торт, украсили его, и как только закончился весь песок, мы торжественно открыли магазин. И начали очень бойко продавать, шелестя настоящими денежками. Сашка хотел купить торт. Я взяла большую картонку для торта, положила на нее торт, повернулась, чтобы отдать его Сашке, и наткнулась глазами на толстые ноги на шпильках. «Ух, ты! Какие шпильки шикарные!» – подумала я. Подняла глаза и увидела тетю Маню с красными губами, которая стояла так странно, как будто собиралась танцевать – руки у нее были на талии. Но она не собиралась танцевать. А стояла, как вкопанная, несколько минут глядя на нас вни-

мательно, а потом спросила: «Чьи деньги?» Я честно ответила: «Мои...» Она собрала все деньги, взяла меня за песочную руку, и повела домой. Дома я увидела, отдохнувшую маму, мама увидела чужие деньги...

Я понимаю, что не права – играть в магазин без разрешения мамы с чужими деньгами нельзя. Мама уходит, а я остаюсь со слезами один на один. Через мутные глаза от слез, я вижу небольшую горку прозрачных занавесок. Мама их сняла с окон, чтобы постирать. О! Здорово! Я понимаю, что могу исправить свое плачевное положение тем, что помогу маме постирать их. Выхожу на кухню и вижу тазик с бельем. Мой папа тракторист! Он много работает так, что все время приходит весь черный: и лицо, и одежда. Так вот мама – молодец! Она замочила папину одежду в тазике. Чтобы папа утром одевал чистую, а вечером приходил в грязной. Как же она и он тоже будут рады за меня и за себя, что у них такая помощница – я! Я беру порошок, подсыпаю в тазик с папиной одеждой, подливаю воды, иду в комнату, беру горку занавесок, несу на кухню и опускаю эту горку в таз. Макаю занавески, чтобы они были все мокрые. Мою руки. Гордая ставлю пластинку «Аве Мария», беру платок, обматываюсь так, что только треугольник моей мордашки виден в зеркале. И думаю, как много горя пережила из-за «чужих денег». А теперь, сделав замачивание – искупила все! И слезы сами текут по моим щекам...

Наступила осень. Ванька пошел в школу. Мама смотрела, решала, что нужно нам купить на зиму. Перебирая вещи, она спросила:

– Свет, ты не видела шапку свою зимнюю?

Я ничего не ответила и побежала к Сашке. Вот распяпа – летом зимнюю шапку потеряла. Сашка копался в игрушках, нехотя мне ответил:

– Что пристала, нет у меня твоей шапки!

Я вернулась домой. Маме ничего не сказала. А на следующий день, играя у речки, увидела мокрую шапку. Она плавала в воде, ближе к берегу, но вытаскивать я ее не стала...Дома взяла новогоднего зайца, прижала к груди и вышла на улицу. Мы долго гуляли. Заяц смотрел на все вокруг грустными глазами. Подошли к школе. Уже темнело. В школе включили свет. Я посмотрела на окна. Ванька сидел на третьей парте рядом с окном, внимательно слушал учительницу. Потом зашли к маме на работу, она собиралась домой.

– Мам...

– Что?

– А шапка моя утонула...

– Где?

– В речке.

Тетя Соня прислала телеграмму. Умерла наша бабушка. Я ее ни разу не видела – только на фотографии. И мне ее не жалко, ведь я ее совсем не знала. Папа уезжает на похороны, возвращается и решает наконец-то совсем вернуться в Россию, туда, где жила бабушка. Мы берем несколько чемоданов, стиральную машинку и садимся в автобус. Качаясь в автобусе, я смотрю на стиральную машинку и думаю: «Что же мы будем стирать в России?» Потом мы долго едем на поезде и приезжаем в Москву. В

Москве – красиво. Много цветов. Вот маленькие васильки. Вот белые лилии. А это гвоздики. А розы такие благородные, что можно уколоться. А тети цветочницы в Москве очень, очень добрые – дают мне цветочки. Ух, ты ж! У меня уже целый букет – вот это да!.. Цветов-то у меня много, а вот где же мама, папа и Ванька?.. Слезы закрывают мне все на свете, и букет становится непонятно-смешанного цвета. И тут появляется мама! Тоже со слезами, но без букета... Берет радостная меня за руку и мы заходим в метро.

В метро так красиво – мужик с пистолетом стоит. И все трогают его за пистолет – он даже начал блестеть. Я тоже подержалась. После пистолета мы вышли на Красную площадь. Какая же она красивая! И дедушка Ленин посреди. Мы отошли в сторонку от дедушки Ленина и сели потихонечку на ступеньки маленькие. Папа вытащил из сумки колбасу с хлебом, разломил и дал всем по кусочку. Вкусная колбаса. Вареная называется. Только сейчас поняла, что кушать хочу. Слышу, что-то капнуло. Поворачиваюсь, а это птичка на плечо папе. Потом смотрю перед самым моим носом, сапоги стоят – такие черные, блестящие. Ух, ты ж, как начищены! Поднимаю глаза. Милиционер! Тут он начинает говорить: «Здесь сидеть, и есть, не положено, здесь главная площадь страны. Ну, мы культурно встаем и идем обратно к дядьке с начищенным пистолетом. Садимся в вагон, едем на вокзал.

Приезжаем к тете Соне в Буй. От станции она живет далеко. Вот мы с Ванькой наперегонки побежали, чтобы быстрее было. Бегу по проселочной дороге, вокруг зо-

лотые поля. Ветер нежно пробегает по ним волной. Вдалеке лес, какой-то нежный, мягкий – непривычный для моих глаз. А березки – просто чудо! Стройные и тонкие. Белые-белые! Теперь я папу понимаю. Вот почему он тосковал! Ведь у нас березки какие-то неровные, а сосны вообще, умудряются расти на камнях, из камней. Как им тяжело! Бедным...

А вот и Ванька, кажется, уже нагоняет меня. Мы с хохотом врываемся в избу к тете Соне. Она останавливает наш бег и хохот словами: «А! Цыгане приехали...» Вечером она нас кормит супом странным, который без цвета и вкуса. Я его почти не ем – противно.

На следующий день папа грустный собирается уезжать. Тетя Соня разобрала избушку бабушкину по бревнам и продала в соседнюю деревню. Он, наверное, не захочет возвращаться в Казахстан... Я его понимаю – тут такие березки...Мы сначала чуть-чуть отъехали от тети Сони. Оказались от Москвы недалеко. Стояло жаркое лето, а казалось что осень. Деревья были все желтые и коричневые. Вокруг деревьев стоял дым. Дышать было нечем. Все говорили: «Такая жара, что даже торф горит...» Маме с папой видно этот горелый торф надоел, и мы поехали. В Астрахань!

А там была страшная болезнь – холерой называется. Так из-за этой самой болезни нас туда не пускали. Уколы-чики такие вставляли, что так долго попа болела – сидеть невозможно на ней. И после этого только впустили в эту самую Астрахань... Там тоже была жара страшная – на полу спали, но торф не горел. А была замечательная речка – Волга называется. Большую-у-ущая!

Больше всего с мамой на ракете любила кататься по этой самой Волге! Весной она разливалась. Потом обратно сливалась. Но в некоторых местах оставались большие лужи. В этих лужах оставались большие рыбки. И до чего мы любили ловить руками в этих лужах этих рыбок. Как-то раз ловим мы рыбок. Ловим-ловим. Ловим-ловим. Вдруг, кто-то как схватит меня за палец! Больно – жуть! Вытаскиваю руку из воды, а она не отцепляется! Начинаю трясти, а она – как прилипла. Ору от боли. Мальчишки с трудом ее от моего пальца отцепили. Оказалась щукой. Ну, у щуки известные зубы. Чуть палец не откусила, гадкая! После этого случая, руками рыбу во всяких лужах не ловлю и ловить не собираюсь! Хожу с папой и с удочкой на Волгу.

Как-то раз мы подошли к плакучей иве. Она опускала ветки к нам, как маленькие тоненькие ручки, так жалостливо, как будто говорила: «Вот я все плачу и плачу – целую реку наплакала» Даже мешала нам ловить рыбу. Своими ветками цеплялась за леску.

Папа достал из банки червячка, нацепил на крючок и бросил подальше в воду. Начался лов. Папа одну за другой бросал рыбу на берег, снимал с крючка, потом укладывал в ведро, а я стояла в ожидании чуда. Потом, вдруг удочка зашевелилась, да так неожиданно, я даже закричала:

– Папа, папа, посмотри, рыба дергается!

– Ты что кричишь – всю рыбу распугаешь...Тащи ее, – шепотом сказал папа.

Я выдернула удочку из воды, но на крючке не было ни червяка, ни рыбы. Папа улыбнулся:

– Обманула тебя, ну давай, насаживай червяка на крючок – следующая будет твоя!

Ведро наполнялось. Рыбы, как дурочки сами цеплялись к папиному крючку. А мой, как будто не замечали. Но вдруг, на мой попалась такая огромная рыбеха. Я начала тащить, аж, удочка прогибалась. Тащу, тащу изо всех сил.

– Сразу видно – крупная, – сказал папа.

Папа оставил свою удочку, стал мне помогать. Дернули вместе. Ни с места. Еще раз. Бух! И на землю упала какая-то коряга. С горя я заплакала.

– Ничего не плач, Светик, ты обязательно поймаешь самую большую рыбу, – папа погладил меня по голове, и я тут же перестала плакать. Представила, как мы с папой несем мою огромную рыбу домой, а она та-а-акая страшно тяжелая. Даже сил не хватает ее тащить!

Я полюбила ловить рыбок, а Ванька лягушек.

– Ну, во-первых, – говорил он, – эта зелень склизкая мешает мне ночью спокойно спать, будит своим кваканьем, а во-вторых, у них противные рожи.

– Но они живые и жить хотят. Пользу приносят – комаров глотают, да, да, мне папа говорил!

– Комаров лопают, и довольные потом квакают, а я тоже жить хочу, и спокойно спать ночью. А ты мелюзга вали отсюда, пока мы и тебя за тоненькие твои ножки не прицепили.

Я грустная уходила домой, смотрела, как ласточка свила гнездо у нашего крыльца под крышей, и кормила своих желторотиков ненасытных, часто, очень часто к ним прилетая. Они заглатывали червячка и опять пищали, открывая свой желтый клювик.

Мальчишки привязывали веревку к тонким лапкам лягушек и тащили их с такой силой по земле, что они даже квакать уже не могли, только голова прыгала по кочкам и пескам.

Ванька с пацанами допоздна ловил своих лягушек, приходил домой, падал на кровать – не хотел от усталости мыться, а на утро не мог подняться в школу.

Мама сначала его трясла за плечо, потом поливала холодной водой из чайника, а потом угрожающе приносила из сеней полено березовое. После чего он подскакивал и начинал вопить:

– Сами ходите за тридевять земель в школу, а я посмотрю на вас!

Мама молча выталкивала его за дверь, дверь закрывала. А Ванька, посидев на крыльце немного, отправлялся в свою дальнюю школу. Ведь осталось немного до конца учебного года.

Летом мы объедались арбузами. Сосед у нас был такой хороший. Приедет с работы на грузовике. На бахче, между прочим, работал. Привезет целый грузовик арбузов. И нам половину отсыплет. Ну, и конечно, срежешь с арбуза крышку, возьмешь ложку и так доковыряешь до дна. Вкусно – пальчики оближешь! И вот так сидим с Олежкой и крышки у арбузов вскрываем. Вечером всех по разочку обыграешь в шашки: «Вот какая я большая – лучше всех играю!» И спать.

Мама собиралась завтра рано утром куда-то далеко за помидорами. Помидоры очень смешно назывались – «Дамские пальчики». Мама не хотела меня брать с собой,

потому что уезжала рано-рано утром, когда я еще сплю. Я ее упростила. И мы поехали. Солнышко только начинало выходить из-за речки. От этого речка казалась красной, как будто горела. Обратном мы вернулись только к обеду с целой кучей ящичков, в которых лежали «Дамские пальчики». Вкуснотища. Сладкие. Через пять минут к нам прибежала соседка. Взяла ящик и ушла с ним к себе домой. Мы с мамой переглянулись. Еще через пять минут она вернулась и поставила на стол баночку с чем-то черным. Ушла. Мама подошла к столу и сказала на черное: «Икра...» К вечеру наш стол был заставлен банками и не банками, черными не черными. А вот от «Дамских пальчиков» остался только один ящик. Пришел папа, увидел эту картину и сказал: «У них так принято...» Мама возмутилась: «Ну, хоть бы что-нибудь сказали» Папа улыбнулся: «А что тут говорить и так все ясно».

Телевизора у нас не было. И мы вечером ходили к Олежке. У Олежки была радость – приехал папа. В тот вечер я заигралась. Потом вспомнила: «Ох, ты! Кино...» И побежала. Тихонько зашла в дом. Комната была полна народу. Потому что у многих не было телевизора. Осторожно прислонилась к косяку, стараясь не дышать, решила смотреть прямо в дверях. Смотрю фильм, но как-то мне не смотрится. Потому что чувствую, что кто-то вместо телевизора смотрит на меня. Начинаю искать глазами и вижу, что папа Олежкин через трюмо смотрит на меня как-то странно. Как будто протыкает своим взглядом насквозь. Я от этого застеснялась и превратилась в ежика, у которого не видно мордочки. Потом обратно пре-

вратилась в себя – он смотрел еще пристальней и добавил неприятную улыбку. Я опустила глаза и смотрела в пол, как каменная. На полу фильм я не могла увидеть. И я решила пойти домой...

В окно пробивался лучик солнца и падал мне на лицо. Мои глаза от этого и проснулись. Мама налила мне какао, рядом положила бутерброд с икрой. Повернулась к плите. Я тихонько черные крошки соскоблила кошке и быстро затолкала весь кусок без них в рот. Мама повернулась. Ужасно удивилась моим щекам. После завтрака, я как всегда побежала к своему другу Олежке. Олежка был на два года младше меня, но с ним было уютно, как в теплой неколючей кофте. Постучала в дверь. Открыла. В сенях стоял Олежкин папаша. Я спросила: «Олежка дома?»

– Нет...– ответил он, сладко улыбаясь, вытащил из кармана конфету и протянул ее мне.

– Тогда я попозже зайду...– сказала я и взялась одной рукой за ручку двери, а другой за конфету.

– Нет, не уходи, подожди его в комнате, он сейчас придет...– и, как вчера вечером через трюмо, проткнул меня взглядом.

– А тетя Настя дома? – вдруг спросила я, засунула конфету в рот и проглотила. И, не услышав ответа, оказалась на улице. Я бежала домой, а перед глазами стояла противная улыбка Олежкиного отца.

На обед пришел мой папа. Я быстро поела и легла спать. Днем я никогда не сплю. Но сегодня почему-то захотелось от страха...Заснуть я не могла. Папа с мамой обеда-

ли и о чем-то говорили. Расслышать было очень трудно. Но я все равно услышала.

– Он какой-то странный...– начал папа.

– А ты слышала, за что он сидел?

– Нет. За что?

– Не знаю. Тщательно скрывают...

– Не понимаю я ее. Зачем ей такой...– грустно сказала мама. Мне не спалось. Я закрутилась – они замолчали.

К Олежке я больше не ходила – приходил он ко мне. Через месяц Олежка прибежал утром весь в слезах: «Папа опять уехал...Ночью с дяденьками-милиционерами...»

Я, как и мама, начала работать рано. Устроили меня только не к свиньям, а к курам. С тетей Надей и со своим зеленым ведерком я ходила на ферму каждый вечер кормить кур. После работы со мной расплачивались яйцами, и я гордо несла свой заработок в зеленом ведерке домой. Как-то раз кормлю, как всегда, своих любимых курочек. Набираю зеленым ведерком зерно и высыпаю тонкими струйками из него в кормушки. Они клюют, радуются мне, а я им. Набираю и высыпаю, набираю и высыпаю. Набир... И вдруг, вижу в своем ведре вместо зерна – огромную толстую крысу! Забыв о курах, о зерне, о ведре, бегу напрямик домой. Так быстро, как будто эта крыса гонится за мной! Забегаю в дом. Падаю на кровать и укрываюсь одеялом с головой. От страха даже руки у меня заледенели. Грею их, а потом в щелочку смотрю кто в комнате. Но вокруг никого нет...А под одеялом становится душно, и я высунула голову, потом и вся вылезла. Пришли папа с мамой, а потом и тетя Надя с полным

ведерком яиц и с улыбкой поставила его на стол. Папа с мамой переглянулись, а я опустила голову...

– Ну, что Светик, будешь тете Наде помогать? – ласково спрашивает папа. Я киваю головой. На следующий день иду на птичник, но больше в короб с зерном не лезу – тетя Надя сама мне ведро насыпает, а я смело кормлю своих любимых курочек!

Зимой завелся у меня кавалер. С порога он кричал: «Наташка пигошки печет. Кагаж любит пигожки!» Звали его Караж. Старичок сухонький и странный... Не знаю почему, но я сразу же сматывала удочки, когда он приходил. Но выйти я не могла. Никогда не находила валенок. Но, как только Караж уходил, воображая, что побывал у тещи на блинах, я выходила на улицу, спокойно найдя свои валенки на том же месте, где они и стояли. Такая любовь меня утомила. Сиди и смотри, как он улыбается и хрумкает пироги. Один раз я не выдержала и устроила ему... Догадалась куда исчезают мои валенки. Закричала на него: «Верни валенки! А-то сейчас – как дам!» И топнула ногой. Он со спокойной улыбочкой, засунув руку между поленьями и достав два, но не полена, а валенка, протянул их мне. Невозмутимый его вид меня настолько возмутил! Что я быстро обула валенки и побежала на улицу, хрустя свеженьким снегом.

Но все равно было, очень жаль расставаться, даже с ним, когда мы уезжали из Астрахани. Готова была поставить укол еще раз, лишь бы остаться там. Но мама там часто болела, а Ваньке далеко было ходить в школу. И мы поехали...

Автобус поднялся на горку. И мы увидели в окно весь город, как на ладони. Темир-тау состоял из домов, озера и труб. Труб было больше всего. Я стала их считать. Они были такие разные. Огромные и малюсенькие. А дым валил из них самый разноцветный. Из некоторых выпрыгивал огонь. Потом обратно запрыгивал. Красота – необычайная. Папа устроился на завод с этими трубами, а мама в специальную службу, где говорили: «Как много в городе дыма, и какой он цветной. И что же с этим делать?..» Она наблюдала за этим дымом и за облаками, показывая на барашков на небе, говорила: «Похолодает...» Она с детства любила наблюдать за барашками на небе, поэтому и сейчас за ними наблюдает. И, когда ветер поворачивал на нас, дул вместе с ветром разноцветный дым: и оранжевый, и серый. Прыг – и ты в оранжевом, прыг – и ты в сером. А жили, мы в этом городе на улице Советская... Она выходила к рынку, на котором корейцы торговали семечками. Один старый кореец торговал краской для одежды, и на руках у него была морская свинка, которая торговала желаниями. Загадаешь желание, а она – на тебе бумажку с ответом. И все зубами-зубами. Мама рассказывала про корейцев страшные истории, мол, они рядом с домом едят собак. До этого я любила кошек. Но как узнала – жалко мне стало собак, и стала я их любить больше всего на свете. Через дорогу от рынка был парк – с яблонями и с немецким театром. Весной он был весь белый, и начинали работать карусели. Больше всего любила лошадок со слониками и комнату смеха – со слезами оттуда выходила. А слоники и лошадки стоили всего пять ко-

пеек, поэтому такую радость родители мне позволяли два раза. И тетеньки на каруселях были очень добрые и бесплатно разрешали еще раз покататься, и ехала я на оленях – удовольствие аж, до самого Северного полюса, и еще раз – на верблюдах аж до самой Сахары.

Карусели, белые яблони, весна сводили меня с ума, и я забывала, что мне завтра в школу. Вспоминала в девять вечера. Садилась за уроки, зевая, наспех их делала. Мои наспех приготовленные уроки и продолжительная зевота утомили папу. В один «прекрасный» день он стоял в дверях с ремнем. Он сказал все, что хотел сказать, но ремнем не воспользовался – обошелся ладонью. «Сделал дело – гуляй смело!» – заявил он мне... Но было все равно больно и обидно. И поучительно. После этого вечера я гуляла еще дольше. Приходила из школы, делала уроки, а потом гуляла до упада. Приходила в десять и падала – прямо в постель.

Сегодня Харитон в школу принес толстую книгу – А.С. Пушкин. Избранное называется. Харя – это мой сосед по парте. Сидели на уроке, все читали, читали. Ну, конечно, он был гордый, что из толстой читает. Потом также гордо положил обратно в портфель. Мы вышли с Наташкой из школы. Идем – болтаем. Вдруг – что-то по моей голове как треснет. Я думала – моя голова отвалится. Нет! Она не отвалилась и даже повернулась. Это оказался Харитон со своим толстым портфелем. Ну, на следующий день, кроме нас с Харей, были в школе еще и наши мамы. Мама Хари бледнела за него и краснела и не ожидала, ведь он у нее был почти отличник. Моя

мама хотела как-то все решить наилучшим образом, а я за одной партой с таким противным не хотела сидеть и больше не сидела!

Закончен учебный год. И я еду к бабушке в деревню, обливая автобус всем тем, чем мама меня накормила. Не переношу плохие дороги и запах бензина. Но, что поделаешь – очень люблю бабушку и деревню. И Валерку...Он живет в доме рядом с моей бабушкой. Приезжаю, и он ведет меня в сад по тропинке, выложенной красными кирпичами. Проводит меня мимо роз и, глядя на мои тоскливо смотрящие на розы глаза, вещает: «Мама их бережетать». Подводит к незабудкам, рвет по одной и с улыбкой протягивает их мне. Мне незабудки тоже нравятся, а потом розы очень колючие... Проводит через сад в домик к кроликам. Мы кормим их травкой и выходим. Но тут начинается ливень и мы, как испуганные кролики, стоим под навесом и боимся выйти. И только вытягиваем ладони – ловим дождь. Долго смотрим, друг другу в глаза и Валеркин губы касаются моей щеки. Щека начинает гореть и другая тоже.

К вечеру мальчишки скатывают со всей деревни старые шины разных размеров и выстраивают из них высокую башню. Это военный штаб. Я – санитарка. Мальчишки перестреляли друг друга, но не на смерть. Я могу еще им помочь – перевязываю раны. Весь штаб и около него – теперь госпиталь. Все лежат на траве вповалку, устали и хотят спать. Но на траве к ночи становится холодно, можно застудить раны, я предлагаю разойтись по домам. Нехотя поднимаются мальчишки, и молча расползаются по домам.

Пока мы умывались после боя, бабушка доила корову, потом, улыбаясь своим беззубым ртом, заходила в дом с полным ведром парного молока. Через марлю процеживала молоко, наливала нам в бокалы. Я фукала на молоко, говорила, что оно воняет коровой. Бабушка смеялась:

– Привыкли к синему жидкому молоку в бутылках – настоящего не хотят.

– Почему не хотим, наливай еще бокальчик, – выпивал все молоко залпом, и просил снова мой братец.

– Ну, ты готов выпить, хоть ведро, особенно, когда есть клубника. Завтра приедет тетя Валя с Леной, и мы все вместе пойдем в лес по ягоду.

Согласны?

– Да, – кричали мы от радости.

Мы с Ванькой любили лес, горы, бродить по ним и проглатывать ягоды горстями, запивая их родниковой водичкой.

Двоюродная сестренка Лена приехала со своей мамой и бабой Катей. Мы обнялись с Ленкой, так как не виделись целый год. Тихонько, пока взрослые разговаривали, зашли в комнату дедушки. Комната у деда особенная. Солнечная, чистая – идеальный порядок, кроме него и бабушки в нее никто не входил. Чистые, связанные бабушкой половички, белые накрахмаленные занавески на окнах, письменный стол, за которым дед читал газеты и писал письма, таинственный шифоньер, который открывать нельзя было ни в коем случае. И железная кровать с круглыми шариками на спинках и белыми занавесками, а на этой кровати царство больших и маленьких подушек. Вот ради этих самых подушечек, и

железной сетки на кровати, мы всегда с Леной тайно входили в дедушкину комнату. Через минуту прыгали на ней, толкались, бросались подушками, счастье и радость от встречи переполняет нас. Вдруг шкаф заскрипел, и дверца сама открылась – выглянули дедушкина ордена. Мы с Леной замираем в воздухе... Переглядываемся. Потом падаем со страха на кровать. Вот чудеса! Ордена поблескивают в глубине шкафа, а мы сползаем с кровати, поправляем покрывало, подушки и на цыпочках уходим, не оглядываясь.

Вечером пришел дедушка с работы, от него пахнет деревом и стружкой. Он ставит посреди комнаты белую сосновую табуретку – подарок для гостей.

Рано утром мы собираемся очень долго, бабушка начинает злиться:

– Ягодники! Так мы с вами в лес к обеду придем, когда люди уже варенье наварят!

Наконец-то мы приходим в лес. Я с трудом собрала баночку, а потом села под дерево передохнуть, задумалась, засмотрелась на всю эту красоту, легкий ветерок, птички щебечут, и не заметила, как банка моя опустела. Надо снова собирать, а собирать уже не хочется, становиться жарко к обеду и все потихоньку подтягиваются к бабушке, чтобы вместе вернуться домой. А мне стыдно на глаза ей показываться, ведь я получается – ни одной ягодки не собрала...

Вечером весело – мы сидим за большим столом все вместе и перебираем ягоды. Бабушка собрала больше всех – целую корзину. Она важно, как генерал варит варенье, а нам дает попробовать пенку вкусную превкусную.

Ближе к ночи мне становиться не по себе. После приезда бабы Кати я стала бояться. Нас с Леной бабушка положила вместе, а напротив спала баба Катя. У нее были черные густые брови, черные, но с сединой волосы и над губой черные усы лохматились. Днем я их не замечала, а ночью сразу же о них вспоминала, проснувшись от ее душераздирающего храпа. Громким шепотом на ухо Лене, которая преспокойно спала, я говорила:

– Лена, проснись, я бою-ю-юсь.

Лена сквозь сон спрашивала:

– Что?

– Бабу Катю...она храпит!

– Ну и что, пусть храпит себе, а ты спи...– умиротворенно отвечала она, поворачивалась на другой бок и засыпала. А я до утра не спала – видела жуткие усы, которые в темноте от храпа начинали шевелиться! «Вот, если бы рядом был папа, он сидел со мной и не давал мне бояться!» – думала я, засыпая на рассвете.

Мой друг Валерка на следующее лето уехал. Взволнованная его отъездом, и, чтобы хоть как-то ему запомниться, я накрасила губы помадой тети Вали красной и вышла на улицу. Его родители складывали вещи в грузовик, а Валерка стоял рядом с узлом в руках и грустно смотрел на меня. Я смотрела издали – не подходила к нему. Боялась, что он увидит мои слезы и помаду на губах и все поймет. Сестра Ленка не удержалась, подбежала и стала меня дразнить: «Дурочка, дурочка – губы накрасила» Я стала ее догонять и тумасить. Она побежала к родникам в лес – я за ней, чтоб было не повадно стар-

ших дразнить. А когда мы вернулись – они уже уехали. Больше я Валерку никогда не видела...

В конце августа приезжала мама и забирала нас домой. Готовились к школе: покупали тетрадки, учебники, карандаши, ручки и школьную коричневую форму. А 31 августа я шла на линейку в накрахмаленном белом фартуке и с белыми бантиками на голове. На минутку, задерживаясь у забора нашей соседки, ждала маму. Тетя Маша, увидев меня в окно, выходила из дома и срезала свои огромные бордовые георгины. Снизу заворачивала букет в газетку и подавала мне. Мама подходила ко мне, поблагодарив тетю Машу, мы торжественно шли на школьную линейку!

Ванька рисовал хорошо, с утра до вечера, на всех кусочках, бумагах, промокашках, тетрадках, где только не заблагорассудится. Рисовал он – «Ну, погоди!». Я тоже любила этот мультик и с восторгом смотрела, как он выводит морду волка. Так рисовать я не могла... Но как-то раз пришла вечером домой и такое увидела! Ему заблагорассудилось нарисовать на моем новом красном лакированном ранце! Такого я пережить не могла. Второй излюбленной его темой был Чингачгук Большой Змей. И этот змей был у меня на другой стороне ранца. Я просто рыдала. Позор! Как я приду в школу? Все засмеют!

В слезах и страшном предчувствии завтрашнего дня – я уснула. Среди ночи я проснулась. Слезы не помогли. Жидкости все равно было много, хоть отбавляй. Я пошла отбавлять. После этого меня почему-то занесло в прихожую, вместо постели. В прихожей была дверь в

летнюю кухню. Туда я и отправилась. Там была маленькая печка, зимой этой печкой мама не пользовалась, на ней лежала сушеная тети Мотина вобла из Астрахани, накрытая бархатной старой тужуркой. Я легла на плиту и укрылась тужуркой. Было все равно холодно. Я укрыла ноги и руки, свернувшись в комочек. Но почему-то все равно мерзла. И вобла впивалась в бока. Я сбросила воблу на пол. Без рыбы было, еще холодней. Тогда я подумала, что странное желание согреться на плите – на ней не согреюсь, как бы не накрывалась. Потому что нет мамы. Я отправилась обратно в постель к маме. Легла под ее крыло и уснула.

Мне снился сон, как будто перед моим носом звонит будильник. И я в шоке – вижу, что жутко опаздываю в школу. Начинаю громко кричать на маму с папой: «Почему вы меня не разбудили?!» От этого крика просыпается вся семья. И судорожно собирают меня в школу. Мама заплетает левую косичку, папа правую. Ванька толкает мне в рот бутерброд, который я, с трудом прожевывая, бегу в школу. На всю улицу слышится крик: «Света-а-а!» Я думаю: «Ох, и развелось этих Свет, как кур нерезанных...» В классе нас шесть девочек. И прибавляю скорости. Подбегаю к школе – она темная. Ничего, не понимая, дергаю дверь – она не открывается. Дергаю еще сильнее. Порыв ветра сбивает меня с ног. Я лицом падаю в снег. И тут я понимаю, что я натворила. Вяло плетусь домой. Дома все умирают со смеху. И надо мной и над собой. Вспоминают все в подробностях и опять валятся со смеху.

Я кричу:

– Света, Света, а она не слышит!

– А я думаю – сколько Свет развелось. Даже противно. Ну, почему я – не Вика и не Бабочкина!?

Потом иду по второму кругу в школу. Мальчишки в полном восторге окружают меня и любят живописью моего брата: «Ух, ты Чунгачгук!».

Сидела я одна, когда в класс к нам пришел Королевич. Я подумала: «Вот его ко мне и посадят». Лариса Алексеевна сказала: «Вот его я к тебе и посажу». И стали мы сидеть, и уроки вместе учить, и домой вместе ходить. То к нему пойдём, то ко мне. И стал он два портфеля носить. А я ни одного! Вокруг школы шли огромные трубы, и в одном месте из них валил пар. А зимой в этом месте вырастал ледовый трон. На этот трон садился мой Королевич, а мальчишки, как только видели меня, кричали: «Королевишна идет!» Потом я подходила к нему – очень стеснялась такого названия. Королевич сползал с трона, брал у меня портфель, и мы шли домой под крики мальчишек.

Наконец-то мы купили телевизор. Мама смотрела свою любимую «Аиду», а я – балет. Я бредила... Крутилась вокруг телевизора и делала свои па. Мама приходила в восторг: «Какая у тебя выразительная мордашка, когда ты танцуешь!» Движений она старалась не замечать. Я сама восторгалась своим неизгладимым ощущением. Когда балет заканчивался – любовь к нему не заканчивалась. Я садилась и лепила из пластилина балерину. Ваяние на этом не заканчивалось. Балерина не может жить на свете одна, и я лепила ей офицера. Немного насытив свой творческий голод – я переходила к каше. После мо-

его насыщения мама приходила в бешенство. Пластилин был повсюду. И мама заставляла меня мыть полы и оттирать этот прилипчивый пластилин...

По вечерам мама читала нам с Ванькой сказки. Брала в руки красивую с картинками книгу, и начинала:

*Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года...*

После двух-трех строк я засыпала. Мне снился измученный своей старухой старик и добрая, мудрая, золотая рыбка. Огромное гусиное перо, чернильница и сказочник за старинным столом.

Наутро мама жаловалась на мое равнодушие к книгам и решила записать меня в библиотеку, чтобы как-то изменить мое сонное состояние. В библиотеку я очень любила ходить. Высокие овальные кверху окна, просторные залы и очень милая библиотекарь. Она не могла на меня нарадоваться:

– Молодец, какая, так быстро читаешь.

Я набирала целую кипу книг о Ленине, ни одной не прочитав, во время сдавала, ни на один день не задерживала. И после библиотеки заходила в ДК посмотреть кино или к однокласснице Наташе, она жила поблизости. Как-то раз задержалась у нее, она извинилась, нужно было собираться в балетную школу.

– Балетную?

– Да, – ответила Наташа, – в балетную.

– Балет? Это как в телевизоре?

– По телевизору взрослые танцуют, а у нас все маленькие.

– Тогда я тоже хочу – возьмите меня с собой!

Тут вмешалась в разговор мама Наташина:

– Мы тебя не можем взять с собой, нужны балетки, купальник и белая юбочка для занятий. Скажи маме, если она разрешит и купит тебе все необходимое, тогда придешь.

Мама, видя мою любовь к балету у нашего телевизора, купила все что нужно, и мы отправились в просторный зал с зеркалами и длиной предлинной перекладной.

Учительница просила сделать ногами первую позицию, как можно больше вывернуть носочки, но они у меня заворачивались обратно. Руки становились деревянными, когда нужно было их вытянуть и округлить. Все девочки делали движения мягко, а я одна была, как Буратино деревянная. Через месяц нас пустили в концертный зал. Самые лучшие должны были танцевать на Новый год снежинок. В перерыве все стали прыгать со сцены вниз, и я прыгнула и так подвернула ногу, что домой меня на руках нес папа. Целый месяц лежала дома, а когда прошла нога, решила, что в балетной школе ничего у меня не получается, так как мне хотелось все время танцевать по-своему... А маме сказала:

– У меня на ножках пальчики болят...

Но когда в школу пришли из музыкальной, позвали учиться играть на пианино, мама не выдержала и сказала:

– А теперь будут на ручках пальчики болеть!

И не пустила.

Я записалась в детский хор и с удовольствием там пела:

*Голубой вагон бежит-качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну, зачем же этот день кончается?
Пусть бы он тянулся целый год!*

Эта была моя любимая песня, напоминала все переезды нашей семьи с одного места на другое. Я так любила путешествовать!

Тетя Маша зимними вечерами в своем чистом и уютном домике сидела под лампой и вязала. Мне очень нравилось бывать у нее в гостях, и я попросила ее научить меня вязанию. Изнаночные и лицевые легко у меня получались, даже мама удивлялась, она не умела вязать.

Потом вернулся ее сын из тюрьмы, и мама старалась меня больше не пускать к ним. Когда приехала на каникулы моя сестра Валя из института, Григорий увидел меня на улице, сказал:

– Зайди к нам, тебя моя мать зовет.

Я зашла, но тети Маши не было дома.

– Почему ты меня обманул? – сказала я и собралась уходить.

– Да, погоди, я тебя не обманул...она вышла на минутку, сейчас придет, поди сюда, – он позвал меня в следующую комнату.

Заходить в нее я не стала, только заглянула посмотреть, что он там делает.

Гриша взял из вазочки пластмассовую розу, опрыскал на нее своим дорогим одеколоном «Шипр» и протянул ее мне. Розочка мне нравилась, одеколон вонял

противно, но я ему ничего не сказала, чтобы не обидеть. Гриша был взрослый, но руки у него тряслись, как у маленького, когда он протянул мне розу, говоря и сладко таинственно улыбаясь:

– Передай сестре своей Валюшке от меня с любовью...

Я выручила Гришу, а дома на меня обрушилась сестра с криками – зачем взяла у него розу!

Вскоре Григорий с горя уехал на заработки на Север, в надежде дарит среди зимы живые розы.

Темир-тау со своим дымом разноцветным надоел моим, и мы решили отправиться дальше. На юг. Мама, собирая вещи, рассказывала – как весной сорок первого вся гора была покрыта красными, как кровь маками, а в сорок пятом эта же гора почему-то была покрыта красными тюльпанами. А еще был год, когда полгоры были покрыты желтыми тюльпанами, а другая половина – красными. Я слушала, раскрыв рот. Я обожала цветы. Часто, подолгу я смотрела на цветочниц, после чего они не выдерживали моего пристального внимания и давали мне цветочки. А тут – не надо ни на кого смотреть, просто гуляешь по горам и собираешь. Я загорелась: «Едем!»

Мы приехали под Алма-ату как раз весной, когда начинали цвести тюльпаны в горах. Рядом с нашим домом не было школы. Мама нас с братом определила в интернат. Воспитательница в интернате внимательно рассмотрела меня и, когда мама ушла, она спросила: «А зачем вы сюда приехали?..» Я гордо ответила: «За тюльпанами!» И вошла в комнату. Девочки сидели на кроватях и круглыми глазами смотрели на меня. И тихо загудели:

– Какая беленькая...Ты из Прибалтики?

– Нет, я из Караганды...из Темир-тау – грустно ответила я. Договорились до того, что они попросили меня показать, что я делала в балетной школе. Я решила не показывать, что делала в балетной школе. Это будет очень скучно, а вот... И, я начала. Что-то мямлила, напевая себе под нос. Думаю, что такой мелодии еще не было. Она сама из меня лилась. Танец так меня захватил, что я забыла про девочек и все танцевала, и танцевала. Мне казалось, что я кого-то люблю и с ним прощаюсь...На месте прощания девочки засмеялись. Меня это ничуть не смутило – только напомнило, что кроме моего воображаемого любимого, с которым я прощаюсь, есть еще и девочки, которые смотрят мой танец. Я опустила голову и стала отплывать.

– Не обижайся, не обижайся! – наперебой закричали они. Я закончила танец. Поклонилась. Села на стул и сказала:

– А я и не обижаюсь.

– Мы подумали, что ты опустила голову...и обиделась...

– Нет! Это по танцу так надо, – заявила я.

Девочки потом меня очень любили, опекали и уж очень белой считали... Да. В Алма-ате солнце яркое и они в апреле были уже все смуглые. Только меня солнце не брало.

Потом мама забрала нас из интерната. Папе дали часть дома в питомнике. Ходить в школу было далеко-далеко, но зато летом мы не чувствовали жары. Питомник утопал в зелени. Тополя, как свечи окружали его и огромный сад с пасекой. Огород мама поливала малень-

кими арыками и тыквы огромные выросли, а картошка с мою голову.

В другой половине дома по соседству с нами жила семья казахов и у них было четырнадцать детей. Наши ровесники Мурат и Сауле, прибежали к нам во двор, когда моя мама пекла пирожки с мясом.

– Хрюшка, хрюшка? – спрашивали они.

– Не-а, – отвечали мы, угощая их ароматными пирожками.

Саулешке особенно нравились мамины пирожки, и она важно говорила:

– Сразу видно не хрюшка, из хрюшек таких не бывает. А мы с Ванькой секрета не раскрывали, потому что знали, что мусульмане свинину не едят, даже дети.

Их мама тетя Альфия во дворе пекла в большой круглой печке лепешки, прямо на стенки их бросала, а потом доставала красивые румяные запеченные. Ребята нас угощали баурсаками. Тетя Альфия стояла у большого казана с шумовкой, вылавливала кипящие в масле, пышные, уже поджаристые баурсаки. А потом высыпала их на огромное блюдо с красивым орнаментом. В большие праздники они резали барашка и делали из него бешбармак. Жили мы дружно.

Тетя Альфия была очень добрая и жалостливая женщина. Когда дядя Нургали, отец семейства уходил на работу, а ей нужно было приготовить суп из курицы, она приходила в смущение. Сначала всей семьей они бегали по двору за курицей, чтобы ее поймать. Как только вылавливали курицу, дети держала ее за лапы и крылья, а тетя Альфия брала нож, закрыв глаза, долго пилила им

по куриной шее...Мы смотрели с мамой на всю эту картину в окно – мне было жалко тетю Альфию, а маме курицу. Она выходила к ним во двор с топором и одним махом расправлялась с жертвой.

С другой стороны от нас жила бабка Анна. К ней ночь-полночь приезжали на машине скорой помощи и привозили детей, как говорили в питомнике – «лечить». Рядом с бабкой Анной жили калмыки, они пили чай с молоком и вместо сахара солили его. Во дворе у них стоял огромный верблюд. А за калмыками стоял дом племянницы бабки Анны – Любки. Любка жила с братом и отцом при живой матери. С ней никто не дружил, считали ее дурочкой, которая ударилась об пенек, когда бежала. Она возмущалась: «Свет, на меня наговаривают все. С турникета я упала, когда мы с Виталькой раскачивались. А они об пенек, об пенек!» Я молчала и представляла бегущую Любку, на ходу, врезавшуюся в пенек. Таких высоких пеньков в питомнике я не видела. На самом деле Любка была добрая и несчастная. Росла без матери, все по дому делала, как взрослая. Что бы ей легче жилось, я прибегала к ней с утра пораньше и помогала. Мыли полы, посуду, а дома у меня самой был беспорядок. Но главное для меня – помочь подруге.

Отец лишил ее маму материнства, она поселилась в Алма-ате, изредка приезжала в питомник к детям. Красивая, добрая женщина, я ее пару раз видела. Бычихин, только так звали все отца Любки, говорил в семье только на казахском. Я убегала, как только он приходил. Пили они чай только из пиал и садились по-казахски на пол за низенький круглый столик. Дружил он только с казаха-

ми, поговаривали, что они ему помогли через суд жену лишить материнства, так как она на казахском не хотела разговаривать. Что было, на самом деле я не знала, Любка о матери не смела, заговаривать, хотя мы были страшными болтушками. Она даже рассказывала, как «лечит» детей ее тетя Аня и обещала когда-нибудь научит ее. Таким «врачам», как она нельзя умирать, пока не передашь все мастерство кому-нибудь, у кого есть талант.

Мама моя не верила в таланты бабки Анны и смеялась над людьми, которые к ней приезжали. «Медицинские институты окончили, а верят дремучей старухе, которая даже в школе не доучилась!» – возмущалась мама. «Это обыкновенное колдовство – не больше!» И я маме верила, она у меня все знала!

За Любкиным огородом начиналась пасека. И богатый, красивый дом пасечника виднелся среди белой и желтой акации.

Весной, когда яблони и акации цвели я ходила посмотреть на пчел, как они перелетают с цветка на цветок, собирая пыльцу. Было страшновато идти по дорожке мимо ульев, но мне нравилось. Я мечтала, когда вырасту, обязательно стану пчеловодом.

На Рождество мы с Любкой бежали по хрустящему снегу с красными, румяными от мороза щечками, к этому дому колядовать. Кричали у крыльца громко, во все горло, чтобы нас услышали в доме:

*Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,*

*Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!*

Память у меня была хорошая, колядки быстро выучила, но когда хозяйка выносила мед в сотах и прозрачные, точно медовые яблочки, я очень стеснялась, так как в городе мы с девочками так не ходили. Видя мое смущение, жена пасечника приглашала нас в дом и усаживала пить чай.

Летом я, страсть как любила ходить по лесу, по горам и читать стихи про то, что вижу. Иногда душа моя не выдерживала – начинала петь эти стихи. Но я прекрасно понимала, что не хватает мне...Чтобы петь настоящему – нужен микрофон. Я долго мучилась, пока не увидела папину электробритву. Она было у него не в порядке. Каких-то там «ножей не хватало». Я подумала: «Ну, что она у него будет лежать без толку!» Взяла ножницы и быстренько отрезала вилку, а бритва со шнуром прекрасно смотрелась, как микрофон. И так заливалась я соловьем целое лето. Наступила осень. Папа про бритву не вспоминал. Но осенью в лесу не столь приятно петь, даже с таким чудесным микрофоном. Я положила микрофон на место. А вот зимой папа заглянул в футляр. Что потом было, я не знаю. Через мгновение, я уже сидела одетая в сугробе за углом дома. Я готова была, поглубже зарыться в сугроб, но чем глубже я зарывалась – становилось холодней. Потом я вылезла из сугроба, зашла домой: «Будь, что будет!» – отчаянно подумала я. Замерзнуть

около собственного дома – была не самая лучшая участь. Папа слегка хлопнул под зад, а мама с братом хохотали.

И тут я поняла: «Взрослеешь ты, мать. Уже шкоды твои, даже не возмущают их, а только смешат».

Но той же зимой я совершила подвиг. Сидела одна дома. Что-то так меня затянула ботаника. Чего не было ни до, ни после того вечера. Сижу чего-то так внимательно рассматриваю лук. И так его расщепила и эдак. Йод на него капнула, как на биологии нам показывали. А он все лук, как лук. Но, как только капнула йодом на лук, чувствую – пахнет. Но совсем не йодом и не луком, а чем-то особенным. Стала внюхиваться. Ничего не пойму, но пахнет дымом. И все тут! Повернулась и вижу, как дым во всю валит и прямо ко мне в комнату. Выскакиваю на кухню. И что же? За печкой, где мама держит дрова для того, чтобы просохли. Вот эти же самые дрова и горят! Я открываю флягу с водой, а там на дне. Со дна все выливаю – не помогает. Беру ведро, бегу на колонку. Прибегаю обратно, выливаю за печь. Не помогает. Пламя еще сильнее. Я бегу еще раз и еще раз пока пожар не затушила. Приходят вечером родители, хвалят меня за то, что не растерялась – пожар потушила. А я думаю: «Взрослая я уже, если такой пожар смогла потушить!..» А в голове Некрасов: «В горящую избу войдет!» Учила его наизусть незря!

Потом случилась еще одна неприятность. Брат разбил большое зеркало. Папа пришел с работы, долго ругался, потом взял самый большой кусок, вырезал из него ровный. Получилось маленькое зеркало – брился, глядя в него каждое утро. С тех пор не люблю, когда бьются

зеркала и стараюсь в осколки не смотреть. Может быть, это было просто суеверие...

На следующее лето папа устроился на бахчу. И привозил сразу несколько арбузов. Находишься по жаре, а домой придешь, тебя ждут дыни и арбузы. И вот как-то раз, когда пришла домой и увидела, что почти все арбузы схрумкали – в ярости я схватила последний. В жадности я не могла себя обвинить, просто такая несправедливость сильно меня возмутила. Долго думала – куда спрятать? Решила – в сено! Через несколько дней папа кормил корову, взял охапку сена и понес корове, а там оказался арбуз, про который я совсем забыла. Он принес домой, разрезал. О, чудо! Вкуснее арбуза я никогда не ела. Он был такой алый, сочный и душистый. Папа торжественно разрезал его за ужином. Мы ели его вместе и было нам очень весело.

Мама определила меня в пришкольный лагерь. Мы с девочками играли в классики. Днем в Алма-ате в июне страшная жара. А во дворе лагеря – огромный карагач. Он был огромный, как дуб. Вот под ним мы и пристроились. Он спасал нас от жары и обмороков, к которым я была склонна. Мальчишки ползали, как пауки по нему. Обожали. Вдруг – один паук превратился в обезьяну и повис над нашими классиками. Девочки кокетливо обходили его и продолжали прыгать по классикам. Шутили, когда видели его ноги перед своим носом. Тут подошла моя очередь. Я допрыгиваю до него и предлагаю подобру-поздорову превратиться опять в паука. Ему это неинтересно! Тогда я предупредительно дергаю его за

ножки. Он держится крепко. Тогда я крепко дергаю его за сухие его ножки... Тут он толкает меня своими ножками в грудь. Тогда я хватаю его за самое сухое место в ножках и дергаю очень-очень крепко! Он, как бутерброд с маслом, падает маслом на землю. Потом поворачивается. Я вижу вместо его лица что-то круглое и красное. И глаза. И они говорят: «Убью!!!» Разъяренный он бросается на меня. Я белугой реву, призывая суд справедливости. Суд бежит в виде нашей воспитательницы. И девочки хором показывают на него. Воспитательница берет это круглое, красное за ухо и с этим уходит. А меня девочки ведут в столовую и там успокаивают виноградным соком.

Вечером иду домой и с отвращением вспоминаю виноградный сок, и круглое, красное лицо Ленки. Но тут ко мне выбежала Валька и радостная потащила меня к себе.

– Вот! – сказала она и показала на целую кучу щенков. Они сосали Жульку. Жулька лежала довольная. Со мной произошло что-то необыкновенное, как будто все исчезло. Жульки нет, целой кучи щенков нет, Вальки нет, а лежит только один щенок и весь светится. Вдруг – я говорю Вальке:

– Вот этот – мой будет.

– Да, потом какого хочешь, выберешь.

– Нет, – говорю я. – Вот этот – мой будет!

– Какая-то ты странная сегодня...

Когда щенок подрос, мы взяли его к себе и назвали Жучкой. Жучка росла, но оставалась маленькой. Нравилась она мне за элегантность – на черном фоне белая бабочка. Больше всего она не любила лошадей, которые

скакали мимо нашего дома. Она на скаку их останавливала возмущенно цеплялась им за щиколотки, как будто прилипнув к ним. Так прилипшей шкуркой изгибалась по всем оврагам. Пока лошадки не оказывались подальше от нашего дома. Какая же она была смелая! Но к верблюдам она относилась снисходительно. Лаяла на них только в крайнем случае – когда мы садились на них, спокойно лежащих на траве и жующих жвачку, верблюды не выдерживали такой наглости, вставали и начинали на нас, сидящих на них, плевать самой отвратительной зеленой мерзостью. У кого были кофты, те закрывались. Остальные – зеленые сидели на верблюдах, улыбались белыми зубами. Только тогда Жучка начинала возмущаться. Все она понимала. Но такого хамского отношения – нет! Как можно плевать в лицо детям, которые просто хотят покататься! Она начинала звонко лаять на огромных верблюдов.

Хлопьями падал пушистый снег. Ковром ложился на землю. Вот под этим ковром вечером зашли папа и желтый щенок. Шерсть была у него пушистая и такая же желтая, как у верблюдов. Маленький, но такой огромный щенок – размером с Жучку. И лапы такие толстые! Я сразу же заключила, что будет как теленок. Он был веселый, солнечный. Все о нем только и говорили. А моя Жучка оказалась в тени. Я несколько минут повозилась с ним и вернулась к Жучке. Я была ей предана, как и она мне. Жучка моя совсем приутихла. Ее было не слышно, не видно. Пока весной не произошла страшная неприятность. У квочки стали пропадать цыплята. Каждую

весну мама выбирала красивую курицу и сажала ее под кровать в ящик, в котором лежали яйца. Эта красивая курица их грела. Догревала их до цыплят. Цыплята разбивали скорлупку и потом вместо яиц грелись под ней. Но квочка уставала, как любая мама от детей – выходила погулять. Пока она гуляла – цыпленок пропадал. Все подумали: «Жучка» Я в это не верила. Но меня никто не слушал. Конечно, их любимый волкодав – не трогает маленьких. Во всем виновата Жучка. Папа принял жестокое решение. Утопить Жучку?! Он пошел к речке через лесопосадки. А я заплаканная телепалась за ним, прячась за деревья, чтобы он меня не увидел. Потому что, когда он видел меня, ругался и отправлял домой. Я не понимала, почему папа не понимает, что Жучка не виновата. До самой речки я не дошла. Папа возвращался уже обратно. Без Жучки... Я опустилась на пенек. Мне было очень одиноко...И горько. Без моей Жучки я рыдала.

И сразу же на следующий день выяснилось, что цыплята продолжают пропадать...Но волкодав-теленоч продолжал жить у нас. Только в дом его не стали пускать.

Случилась в поселке еще одно горе. В соседнем доме повесился казах. Его молодая жена не могла находиться в этом доме. Тем более дом был большой, а она одна. Она предложила нам свой, а сама в наш дом переехала. Родители согласились, хотя собирались рвануть на Дальний Восток. Видимо, кроме большого дома, поразил их воображение шикарный сад с огромными яблоками «Апорт». Я грызла огромное яблоко и трусливо пробежала по веранде. В ней висел покойник. И неважно, что он

висел две недели назад. Страх висел во мне! Обрывался и падал в пятки при любом шорохе. И страх этот увеличивался, когда папа уехал на Дальний Восток.

Мне приснился сон. И он оказался пророческим. Папа сидел у печки в своей рабочей одежде, грустно опустив голову: «Ничего не получается на этом Дальнем Востоке...» Да, таежная романтика оказалась не такой уж доступной. Он вернулся опять – в доступный Казахстан. На этот раз мы поселились в Экибастузе. Родители с братом приехали сразу, а меня завезли и оставили одну у бабушки до конца учебного года. Бабушка привезла меня в июне. Дул сильный ветер, задувая пыль в мои большие глаза. Я сказала бабушке: «Какой противный ветер!» Бабушка ответила: «Здесь всегда такой...» Деревья здесь отсутствовали. Вокруг была желтая степь. К середине июня она выгорала и становилась черной. А зимой весь снег куда-то сметало. Стояли сильные морозы. Голая земля. В общем, как на Луне. После того, как бабушка ответила мне про ветер, я подумала: «Красивые горы с тюльпанами и маками, бахчи с алыми арбузами и желтыми дынями надоели – будем, есть пыль, которая залетает в рот, когда разговариваешь!..»

Отцу дали квартиру неподалеку от города. Я любила эту квартиру – когда шел дождь, не надо было выходить на улицу, чтобы побегать под ним. Просто протяни руки – и дождь капает тебе на руки. А голову можно было и не подставлять. И комнаты напоминали праздничный стол – все в посуде. Мама расставляла ее каждое утро заново. После ливня на потолках появлялись картины с необыкновенными морскими волнами. Мы пожи-

ли в ней только месяц июнь, но в тот год он был на редкость замечательно дождливый. Мама мечтала о доме в самом городе. На примете у нее было – два. Она потащила меня с собой. Показала. Спросила: «Какой тебе нравится больше?» «Тот. Но жить мы будем в этом», – ответила я. Дом, рядом с которым мы стояли, как-то весь отдалился, и кроме него я уже ничего не видела. Вот этот дом мама и купила.

Рядом с нами жили цыгане. Вместо огорода у них были лошади. Лошадей они любили, но все-таки мечтали об огороде. И в этих мечтах, как только вырастали наши помидоры, они забирались к нам в огород и протыкали их из зависти. После чего помидор не выдерживал и чах. Одну из лошадей, красивую, рыжую, они называли Светкой. Когда мы познакомились, они стали меня звать Рыжей. В глаза. За глаза – ракля. Что по-цыгански означает – русская. Когда я к ним приходила, они окружали меня, раскрыв рот, слушали. И ужасно смеялись. А в глазах было: «С Луны свалилась!» Потом начинали меня спрашивать: «А у вас есть золото?» Золота у нас не было. Все самое ценное лежало в чемодане – мамины золотые часы, которые купила еще в молодости, потом они сломались, но чинить она их не стала, старинная икона и большущий латунный крест, оставшиеся от бабушки после ее смерти. Поэтому я искренне отвечала: «Не-а». После этого они еще громче заливались смехом. Ругались они по страшному. Целый год я рассказывала истории, а они слушали, смеялись, переговаривались по-цыгански и опять ругались по-русски. Через год в один прекрасный день я им выдала весь словарный запас их русско-

го языка. Сначала они онемели. В оцепенении постояли секунду. Потом переглянулись. И стали возмущаться, что я ругаюсь. А я невозмутимо: «А вы?» «Мы это другое дело. А ты не должна – ты другая!»

Потом возились со мной, как с куклой, как с чем-то особенным – водили в кафе, в кино, в магазины. И тратили деньги, которые лежали у них под периной. Было ощущение, что перина волшебная, как скатерть самобранка из сказки и деньги в ней не заканчиваются – сколько не возьми. Во дворе держали бутылки, которые им сдавали. За деньги, конечно. За двенадцать копеек. Иногда они запрягали Светку, садились на телегу и ездили по улицам – собирали бутылки. Был передвижной пункт по приему бутылок. Взрослые стояли в очереди, чтобы сдать бутылки, а дети ласкали и кормили Светку. Я сидела на бутылках и смешила своих цыган. Им со мною было веселее собирать пустые бутылки, а мне было интересно с ними.

Как-то раз я пошла к Ирке в гости. В кресле сидел ее новый папа. Новый папа был лысый и очень интересный. Предложил нам погадать. В кресло напротив первая села я. Он взял мои ладони – долго рассматривал. Потом спросил: «У тебя кто-нибудь из родных умирал?» Я ответила: «Бабушка, но я ее не знала. Она жила далеко в России». Он отодвинул мои руки и пригласил Ирку. Ирке наговорил целую кучу всего и даже сказал, когда она выйдет замуж. Тут я подождала и спросила: «Ну, а мне что-нибудь можете сказать? Хотя бы когда я замуж выйду?» Он улыбнулся, но гадать отказался наотрез. Грустная я пришла домой и пожаловалась папе с мамой. Они засмеялись и ре-

шили, что он выдумщик и болтун. Но я ведь слышала, что по руке гадают и на ней – все, вся судьба. Я пошла к своим родным цыганам. Но они были, как рыбы. Только Земфира показала на линию на моей руке и сказала, что эта линия Печени. Эта линия была разорвана и состояла из трех длинных частей. Я сказала: «А что, если линия соединится, то я буду пьяницей?..» Рада меня перебила: «Да, это не линия Печени, а линия Искусства, дура!» «Да, – подумала я, – кроме бутылок своих ничего уже не помнят...А еще цыганами называются...» Я все смотрела на свои ладони и хотела узнать, что там скрыл от меня новый Иркин папа?..

Кто, каких любит. Я обожаю блондинов с голубыми глазами. Вот таким оказался Сережка Синицкий. Сокращенно – СС. Он не оставлял меня без внимания ни одного урока. Особенно, если это была контрольная или сочинение. Я сочиняла себе и ему. Но моя помощь была напрасной – отличника из него не выходило. Его голубые глаза искрились от счастья, когда учительница проносила: «Синицкий – три» Я не разделяла его счастья. Что такое «три»? За это счастье он удостоивал меня изысканным прозвищем – Остап Бендер. Почему? Я и сама не знала. С этим героем я у себя никак не ассоциировалась. За это я ему давала портфелем по голове. Он был просто наверху блаженства. Убегал, и голубые глаза его сияли еще больше. Вообще, они сияли каждый раз, когда встречались с моими глазами. После таких глазных встреч я долго не могла уснуть и думала: «Это любовь...»

У папы тоже была первая любовь. И звали ее Рита. Поэтому папа хотел меня назвать также. Он грустно вспо-

минал о ней. Она умерла совсем рано. Когда ей исполнилось всего шестнадцать лет. Она укололась иголкой, которая дошла до венки, которая проткнула венку и пошла по ней, и дошла до самого сердца. В общем, как сказал папа от заражения крови. Мне жалко было Риту, а еще больше папу...Еще он по секрету сказал, что мама похожа на Риту...

Весь наш двор к осени становился, как разноцветная радуга. Мама любила астры. Летом бросала семена по всей земле между огурцами, помидорами, болгарским перцем. Овощи отходили – астры к осени расцветали, пышными своими головками качались на ветру.

Ко дню учителя девчонки в нашем классе задумали поздравить всех учителей. Денег хватило только на сувениры. Я предложила мамины астры, только надо было спросить у нее. Цветы мама срезать не любила, ей хотелось, чтобы они были всегда живые. Поэтому в доме никогда не было срезанных цветов, только во дворе живые. Но девчонки пришли такие радостные и активные, уговорили, и она выбрала самые красивые, срезала – получились яркие осенние букеты. Учителя остались довольны. А мы стали готовиться к осеннему балу. Шили платья к нему, украшали зал осенними листьями, подбирали музыку, игры. Но самое главное было впереди. В начале декабря в школе проходил конкурс военной песни. Наш класс выбрал «В землянке». А так как в классе многие были дети военных, то они с легкостью могли принести военные галифе, юбки, гимнастерки. Мне досталась шапка ушанка и солдатская фуфайка. Я примери-

ла, ребята посмотрели на меня и сказали: «Так похожа, хоть сейчас на войну отправляй!» Мы посмеялись, и сценарий тут же родился. Они поют в землянке, а я с мороза захожу в середине песни доложить командиру важную информацию, но они меня останавливают, приглашают погреться, я снимаю фуфайку и сажусь к печуре, грею руки и пою вместе со всеми замечательную песню «В землянке». Всем понравилась идея, мальчишки слепили из картона буржуйку, наклеили красную бумагу и провели к ней лампу, печка оживала. Аня принесла из дома гитару, она лучше всех пела, а мы ей только помогали.

И вот наступил день конкурса, ребята вышли на сцену. Везде погасили свет, и только печура освещала всю сцену, Аня начала:

*Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.*

*Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.*

В землянке становилось уютно и тепло, но на этих словах я ввалилась в землянку вся заснеженная, пытаюсь отрапортовать. Ребята посмотрели на меня недоумевающая, остановили меня жестами и позвали к печке погреться. Я сняла фуфайку, постелила ее на пол и села на нее поближе к огню. И начала душевно петь со всеми вместе дальше:

*Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.*

Мы спели хорошо, я отличилась в эпизоде, учителя даже подумали сначала, что на песню опоздала. Нам, не сговариваясь, дали первое место, и даже ребята из других классов не обижались – всем так нравилась эта песня!

Верила в примету: «Как встретишь Новый год, так и проведешь» Мои родители никогда не встречали Новый год. Я все время относилась к этому спокойно. Или уходила к кому-то его отмечать, или ложилась спать. В тот Новый год произошел скандал. Мы с братом хотели встречать Новый год дома. И, конечно же, встречать! Ни в коем случае не ложиться спать! Отец настоял на своем – выключил телевизор, а затем и свет. Брат убежал в гости. А я легла... Несколько минут покрутилась в постели, потом встала и пошла... Шла по улицам – куда глаза глядят. Вокруг сверкали елки множеством огней, слегка пьяненькие люди смеялись, катаясь с горок. Я шла мимо них, слезы наполняли мои глаза, а потом хлынули в два ручья. Не знаю, отчего я плакала. Мне было ужасно грустно. Не злилась и не обижалась я ни на кого. Просто было очень грустно... Потом я ничего не помню, как долго гуляла одна по праздничным улицам. Помню только нашу черную воющую собаку во дворе, которая встретила печальными глазами мои заплаканные глаза, когда я вернулась домой...

Год был ужасный. Вскоре после Нового года случился страшный пожар. Мама случайно забыла выключить свет в сарае, и ночью от легкого замыкания вспыхну-

ла солома, а потом и весь сарай загорелся. Дом чудом уцелел, ведь он стоял совсем близко. Мы проснулись в последнюю очередь. Соседи уже вызвали пожарку. Напуганная пожаром и пожарниками, собака сорвалась с цепи – убежала. Больше мы ее не видели. Папа не мог простить маме того, что не выключила свет. После этого пожара подходил ко мне, иногда спрашивал: «Если мы с мамой разведемся, ты с кем будешь жить? С мамой или со мной?» Я не понимала: «А зачем расходиться?» «Ну, так... С кем?» «Конечно, с мамой...» Он молча отходил от меня. Я не понимала, почему он так спрашивает, что он задумал? Можно отремонтировать и забыть эту неприятность. Ошибиться может любой человек.

Два года назад мама хотела меня отправить в Херсон. Там смертельно больная лежала ее подруга. С Шурой они учились в одном техникуме в молодости. И эту дружбу она пронесла через всю жизнь. Детей у тети Шуры не было, мужа тоже. Была сестра не от мира сего, хромая мать, и после фронта, контуженый отец. Моя мама обожала свою Шуру и в качестве сиделки решила отправить меня. Ненормальное у меня был – только возраст. И тетя Шура, у которой был рак легких, решила, что это для нее будет слишком большая жертва. Отказалась. Умерла через год, намучавшись. Вопрос этот отпал сам собою. Но мама не успокаивалась. Она должна была навестить ее родителей. Ну и могилу, конечно. Высшее образование для моей мамы не было никогда самоцелью, и она спокойно бросила университет. Довольствовалась оконченным техникумом. Мне желала той же участи. И к могиле прибавлялось мое поступление в техникум.

Я к тому времени была уже «кровь с молоком». И молодые люди, с которыми мы ехали в поезде, трое суток крутились около нашего купе круглосуточно. Видимо, им нравились такие девушки... Но, кроме всего прочего, у меня еще были мозги – мы доехали спокойно. Мозги заставляли меня сидеть подальше от них, между окном и мамой.

В Херсоне я не была с двух лет. Мама рассказывала, что в два года я страшно ругалась с сестрой тети Шуры. Сестра обижалась на меня и, жалуюсь сестре, говорила: «Шура, Светка дерется!» Сейчас я предпочитала улыбаться и спокойно смотреть на ее выходки. Старики оказались очень добрыми и внимательными. Приняли нас прекрасно.

Мама повезла меня в Николаев. Там был замечательный кораблестроительный техникум. А так как мама считала, что математику я знаю прекрасно, то туда мне и дорога. Еще моя мама была современной женщиной и считала, что надо употреблять свои знания современно. В ногу со временем. А нога поворачивала в сторону ЭВМ. Вот предел мечтаний. Этот предел я тоже поддерживала, когда вошла в двери техникума. Но никто в стенах этого здания меня не поддержал. Всею виной – возраст. Не хватало двух лет. Я вышла с надеждой и со слезами. Мама мою надежду поддержала, а вот слезы – нет. Могилу мы навестили, техникум тоже. Но удовлетворения не было. Решили отдохнуть. Ездили на катере в Голую Пристань. Мама, как хрюшка, валялась в грязи местного лечебного озера, а я на берегу Днепра. Вкусы у нас разошлись. Вскоре Днепр со своими волнами мне надо-

ел. Мне захотелось большего. Море и его волны манили меня. Через день мы оказались в Железном Порту. Этот поселок повернулся к нам железной стеной – ночевать было негде. Ближе к ночи мы все-таки нашли веранду у одной старушки. Она бросила матрац на пол – мы были счастливы. А на утро был шторм. Мама в море не полезла. Меня какой-то там шторм не остановил. Я хотела моря. Я должна его попробовать. Вошла в ледяную воду. Вода обжигала тело. Набрала воздуха. Прыгнула, не раздумывая. Я поплыла, как будто всегда плавала в море в шторм. У меня было ощущение, что я не плыву, а лечу над волнами. Мама меня не понимала. Веранда с матрацем и шторм на море ее быстро утомили. Через день мы были в Херсоне. Я шла по улицам пьяная от моря. Подплывала то к одному дереву, то к другому. Срывала плоды и грязные толкала в рот. Плоды брызгались, соком заливали мне подол и руки. Мама ворчала, проезжавшие мимо машины сигналили, а водители выглядывали и улыбались.

После отпуска мы вернулись домой. Папа рассказывал маме сон. Как будто он сидит на кухне, открывается дверь и входит, вся в черном, моя бабушка. Рукой машет папе и зовет: «Пойдем со мной...» Мама вздрогнула и спросила: «А ты что ответил?»

– Подожди немного, скоро приду...

Папа с мамой замолчали, а я вышла на улицу.

Вскоре, отец очень сильно заболел. Его положили в больницу. Воспаление легких. В больницу к нему я не ходила. Мне и без этого очень интересно, весело жилось.

Я заходила за Ленкой. Она очень долго собиралась. Потом смотрела на часы и говорила:

– Кажется, мы опоздали...

И продолжала:

– Может быть, нам не позориться и идти сразу на второй урок?

Видимо, позора пережить не могла и я. Бросала портфель у порога, шубу на вешалку. И вот мы уже на диване. Лежим, задрав ноги в потолок, и слушаем Битлов, забыв про все на свете. Потом вспоминаем про свой позор. Переглядываемся. Понимаем, что опоздали и на второй урок, но прийти, опоздавшими на второй урок – это просто страшный позор. Решаем идти на третий. Но эта неприятность уже нам не дает лежать, задрав ноги и «плевать в потолок». Ленка садиться за стол и что-то начинает набрасывать. Ее наброски мне страшно нравятся – я так не могу. Она рисует все! Всякие мордашки и рожицы. Потом мы все-таки приходим в школу. Третий урок – математика. Математику я знаю, уважаю и люблю. Но любовь к мордашкам и рожицам побеждает. Ленка их продолжает рисовать, а я смотрю, как это у нее здорово получается.

Завтра классный день – не будет уроков. Мы все должны собраться у школы и поехать всем классом на флюорографию. Мы с Ленкой решаем ехать прямо в поликлинику. По дороге мы понимаем, что это очень скучно. И решаем завернуть в кино. После фильма мы счастливые идем на рынок и покупаем полкило слив. Обожаю сливы. Идем, едим сливы – нам здорово и весело. И мы

смеемся до упада – неважно над чем. Вдруг – наш смех прерывает до ужаса знакомый голос:

– А вы, что тут делаете кумушки?..

Поворачиваемся и видим родную нашу Колбу. И Колба говорит:

– Флюорографию прошли?

И мы, не мигая, честно отвечаем, что прошли. Она, удовлетворенная нашим ответом, прощается и уходит. Мы в оцепенении смотрим друг другу в глаза. Потом прыскаем. Когда Колба исчезает за горизонтом – дико начинаем хохотать. Ведь никакой флюорографии мы не проходили – обманщицы.

– Отца скоро выпишут, а ты к нему в больницу так и не сходила, – укоряла меня мама. Мне стало не по себе, я собралась и пошла к отцу. Он вышел в коридор больницы. Рассказывал мне, что скоро поставят последние уколы и его выпишут. Он смотрел на меня, и я чувствовала, рад тому, что я пришла, но показался он мне в тот момент таким одиноким...

Отцу поставили последний сороковой укол и выписали. А я продолжала ходить к Ленке после школы, иногда мы засиживались, и ее брат Андрей провожал меня до нашей калитки. Один раз достал из кармана лесные орехи и протянул мне. Я поблагодарила, засмеялась и убежала домой. Отец увидел меня в комнате улыбающуюся и запретил строго настрого задерживаться у подруги, чтобы не провожал меня ее брат. Я не понимала – ведь мне было уже 15 лет, совсем уже взрослая, почему отец возмущается. И первый раз мы с ним поругались.

Но я все-таки послушалась отца, не стала задерживаться у Лены, Андрюша больше меня не провожал, отправился на дискотеку и познакомился с Люсей, перестал на меня обращать внимание. Люсю я увидела сначала на фотографии, и она мне не понравилась – огромный нос, на кончике картофеля, старческие губки вниз и дурацкие стрелки на глазах. Я посмотрела на себя в зеркало, потом опять на фотографию, не понимала, что он в ней нашел. Ей шел девятнадцатый год, она была действительно взрослая, могла бывать на дискотеках. А мы с Ленкой ходили только на школьные вечера: осенний бал и Новогодний вечер. Сидели в уголке и ждали, когда нас кто-нибудь пригласит на танец...

Я спала в одной комнате с отцом. В тот день я проспала. Проснулась, резко повернула голову. На кровати лежал отец и спал. Я ужасно удивилась. Мне казалось, что уже много времени, и он должен быть на работе. Ничего не сказала, вскочила и подошла к его кровати. Еще больше удивилась – постель была пуста. Так мне все привидилось?..

– Совсем чокнулась. Вечно мне что-то мерещится, – подумала я и зашла к маме в комнату. Мама поделилась со мной:

– Отец какой-то странный сегодня...Уставший...Так ему тяжело. Видно, после болезни слабость еще...Не хотел на работу идти. Я ему сказала: «Не ходи...» Он грустно улыбнулся и стал собираться.

Настроение у меня было паршивое. Слонялась неприкаянная целый день. Почему-то вообще не пошла в шко-

лу. Дети обычно прячутся, когда пропускают уроки, а я пошла днем в центр. Слонялась по центру, потом встала на остановке около магазина «Ромашка». Мимо пробегали машины. А я почему-то стояла и стояла... В полной прострации...Продрогшая до костей, приехала домой. Мама возмущалась, что на дворе уже зима, а в коридоре стоят мои осенние туфли с осенней грязью. Я налила в ведро воды, и села очищать ножом старую грязь с туфель... Кто-то постучал в дверь – мама отозвалась. На пороге появился друг моего отца. Поздоровался. Зашел в комнату Присел на стул Лицо у него было перевернутое. Несколько минут он сидел, молча, тупо глядя в пол. Какой-то потерянный. Мы с мамой смотрели на него, ничего не понимая. Потом мама не выдержала и спросила:

– Где Володя?

– В больнице... – ответил он. Он что-то невнятно объяснял маме, ужасно комкая слова. В голове моей была пустота, и только туфли с осенней грязью стояли перед моими глазами. Потом что-то толкнуло меня бросить эти, надоевшие мне туфли, прямо в ведро. Через секунду мы с мамой были на улице, сопротивляясь ветру, бежали к автобусу. По щекам хлестал колючий снег, разбивался о щеки и стекал по ним вместе со слезами. В автобусе мы ехали молча, и дорога эта казалась вечной. Подъезжая к больнице, я вдруг подумала, что он умер...И тут же закричала: «Нет, не может быть!»– тоже мысленно. В больнице нам сказали, что он в реанимации и увидеть мы его не сможем. Мы тупо пошли обратно, опустошенные тем, что не в силах ничего сделать. Мама предложила съездить к другому товарищу по работе. Этот человек

оказался честнее, он рассказал, как все случилось: «Все сидели, курили. Болтали. Некоторые соображали, как бы выпить. Нужно было доделать крепления. Но никому не хотелось пахать на морозе. Володя один полез наверх. Высота была небольшая – не более трех метров. Но, так как леса были не закреплены, а он об этом не знал – доски соскользнули, и он упал на голый цемент. На этот шум мы и прибежали из каптерки. Двое схватили его и понесли в медпункт. Скорой помощи, как всегда, на месте не оказалось. Они потащили его на дорогу, где проходил весь транспорт, направляющийся в город. Но, ни одна машина не останавливалась. Потом один из ребят вышел на проезжую часть. Не уходил с дороги. Грузовик был вынужден остановиться. Сели на открытый борт машины и довели его до больницы...»

Он поил нас чаем, и все подробно рассказывал. Потом мы собрались домой. Было уже поздно. Поблагодарили его за внятный рассказ, сказали, что завтра с утра попробуем все-таки попасть в больницу, попрощались, стали уходить. И тут только, он остановил нас, и сказал, что не надо ходить в больницу.

– Когда останавливали машину, он был жив. Он умер через сорок минут на борту машины в центре города около магазина «Ромашка».

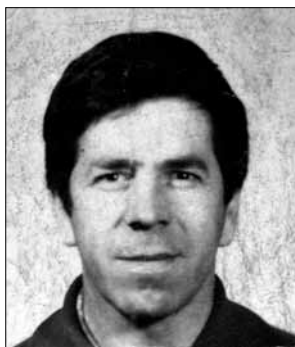
Я шла, ничего не видя и не понимая. Как во сне. Как будто шла не я, как будто все это происходило не со мной...

На следующий день приходили какие-то женщины с его работы. Трясли черными костюмами и черными туфлями перед маминым лицом. За что-то извинялись мужчины. Приехали бабушка с бабушкой. Бабушка силь-

но плакала, жалея отца. Она очень его любила. Потом дед достал из сумки бутылку водки, и они сели на кухне пить. Мама не понимала, зачем они пьют. Они не понимали ее:

– Поминаем Володю.

– Поминают после похорон на поминках! – сказала мама и вышла на улицу.



Привезли отца... Я ужасно боялась смотреть на него, когда его внесли в комнату. Мама достала из чемодана большой крест и положила отцу на грудь. После смерти бабушки папа привез этот крест да еще икону Нила Сорского со своей родины – Русского Севера. Мама отправила нас к подруге ночевать, а сама осталась дома, молиться рядом с отцом. Мы вышли во двор. Было темно. Метель завывала жутко, около двери стояла верхняя часть гроба, и черные ленты развевались на ветру. И тут я поняла всем своим существом – кончилось мое детство. В день похорон я видела все сверху и маму и брата в страшном горе и себя в слезах. На следующий день, я пошла на кладбище взяла горсть земли, чтобы освятить в храме и принести обратно на могилу отца. Ветер сбивал с ног, снег обжигал лицо, но я думала уже не о себе. Через пять лет тоже зимой на день Ангела, я приняла Святое Крещение. Так началась моя взрослая жизнь.

Рождественская звезда

Детский рассказ

Перед Новым годом папа принес огромную ёлку. В комнате она согривалась и благоухала, так как папа развязал – выпустил ее на волю. Она выпрямила свои зеленые, пушистые лапки. Он решил поставить ее в ведерко с песком. Закрепил и она стояла ровно. Достал игрушки с антресолей, и начал ее наряжать. Потом повесил старинные домики, заваленные снегом. Потом выпорхнули, будто живые из его рук и сели на ветках два пестрых и блестящих попугая. Серебряные шишки он развесил равномерно по всей елке. Затем взял большого снеговика и думал, куда же его поставить, опасаясь, чтобы кошка не зацепила хвостом или когтистой лапой.

Мама готовила пирожки с яблоками, но изредка, заходила и помогала украшать елку.

– Красные, золотые и серебряные шары должны, обрамлять елку, вместе с бусами, которые тоже круглые, но маленькие, – сказала мама и провела в воздухе рукой и опять ушла на кухню.

Можно было смело ставить Снегурочку и Деда Мороза под елку. И они встали – она нежная и робкая, а он важный с посохом.

Папа обращался с игрушками бережно, ведь многие из них были куплены еще, когда бабушка была маленькой. Затем он вытащил гирлянду, развесил ее по всей елке.

С кухни уже доносился аромат пирожков. Мама раскрасневшаяся, вернулась.

– Всё...закончила, – выдохнула она.

Теперь уже не отвлекалась на пирожки. Потом включила гирлянду. Елка замигала-замигала разноцветными огоньками маленьких лампочек. Комната как будто вся преобразилась, как в сказке.

Только Лена лежала на своей кроватке равнодушно смотрела на все эти предновогодние приготовления. Накануне она заболела Она лежала в постели с высокой температурой...

Мама пошла на кухню, и принесла горячее молоко с медом и лекарство. Время пришло – надо пить. А ей так этого не хотелось. Мама поставила бокал на тумбочку и опять ушла.

– Сейчас придет и принесет тазик с теплой водой и заставит греть ножки. Лена пила молоко маленькой ложкой. Ведь ей так хотелось выздороветь!

Мама дала ей лекарство, и она крепко заснула. Проспала весь вечер. А ночью поднялась температура. Под сорок. Горло пересохло, больно было глотать, а пить очень хотелось. Просто чистой холодной воды. Тело горело изнутри. Лене хотелось сбросить одеяло, но мама зачем-то укрывала ее, сидела рядом и плакала. Посмотрела на маму, ей показалось, что в эту минуту, они могут расстаться совсем и навсегда. И слезы потекли по ее щекам. Вызвали скорую помощь. Врач приехала очень быстро. Осмотрела ее, послушала, что у нее в груди, выслушала маму. Сделал укол, и велела, если снова температура будет подниматься, натереть горячим спиртом все тело до самих пяточек.

После укола температура спала, и все успокоились и заснули. В доме стояла тишина, и только ходики негромко тикали – некуда не спешили. Даже Муська, она ведь всегда просыпалась раньше всех, а сегодня спала и спала от забот и усталости. Она все чувствовала.

Но к утру температура у Лены опять начала подниматься. Мама пошла на кухню. Подогрела спирт, натерла им все тельце. После этого Лена проспала весь день.

Целую неделю до Рождества она грела ножки, пила лекарство и молоко с медом. Температура больше не поднималась, но горло болело, и кашель не давал ей по ночам спокойно спать.

И в предпраздничный вечер она все еще лежала в своей кровати и смотрела на небо. В окно заглядывала круглая луна, похожая на большое желтое яблоко. Ей совсем не хотелось спать. Все смотрела и смотрела в окно на звезды и луну. Они в эту ночь сияли, как-то по-особенному. И только одна – яркая звезда светила прямо в глаза и дорожка от нее шла узенькая-узенькая прямо к кровати. И по этой самой дорожке шел тихонько, не спеша весь сверкающий Ангел. Он шел долго, сначала казался маленьким, затем все больше и больше, а потом, как будто в один миг оказался у постели и освятил всю комнату светом. Сел рядом и погладил Лену по голове, по носику, по шерстяному шарфу. Ей стало легче дышать и необыкновенно весело и радостно.

Она открыла глаза. Было утро. Солнышко светило в окно так игриво и радостно, и так тепло, как летом. Мама надевала нарядную юбку, собиралась на праздник. Лена подскочила. Улыбнулась. Защебетала:

– И я, и я тоже!

– Как ты себя чувствуешь, моя девочка? – мама обняла Лену и потрогала лоб.

– Хорошо!

– Да, действительно лучше! И настроение чудесное, тогда собирайся!

Она спрыгнула с кровати, побежала умываться. Резвилась, надев вишневое бархатное платье с большим атласным бантом. Обнимала маму, папу и кошку Муську, которая за Новогодние праздники не свалила ни одной старинной бабушкиной игрушки.

На улице было зябко. Хрустел под ногами снег. Мороз кусал щеки и кончик носа. Лена закрыла его рукавичкой. Деревья стояли в белых искристых шубах, как будто тоже боялись мороза.

В храме было, как в лесу везде стояли маленькие елочки. А в середине храма – старинный вертеп. Мама приподняла Лену, она поставила свечку и заглянула в глубину вертепа. Младенцу радовались все вокруг.

Лена пошла, села под елочку отдохнуть и подумать о том чуде, о котором рассказала мама ей по дороге в храм. Младенцу пришли поклониться сначала пастухи, а потом волхвы принесли подарки. От чуда и ей становилось так хорошо, как никогда в жизни. Ведь Рождественская звезда заглянула сегодня и к ней в маленькую комнатку.

Володька Абалдуев

Сказ

Володька Абалдуев чапал по Красному проспекту, шлепая своими красными ногами-ластами по раскаленному асфальту. И ему было плевать на красные свои лапы, как у гуся, потому как шел он по Красному проспекту гусем – точь-в-точь гусем. Вот таким вот, важным преважным гусем. С Красного проспекта он повернул на улицу Романова, на которой у него завязался не один роман. Но об этом потом – позже. Не будем торопиться! Ведь наш герой важен, ведь он не торопиться.

Не смотря на всю раскаленность погоды, ветерок слегка поддувал. Подует он на Вовкины волосы, как смоль, до плеч, и гордости прибавляется в голове у Абалдуева. А это его козырь. Через пять минут он зайдет и положит его на стол директора театрального училища. А та скажет:

– Ну, и что?

– А, вот, взгляните! Как по дереву режу и по льду.

Веером работы в кадрах. Кадры рассыплются по сукну. И подумает Головина:

– Во голова. Во кадр!

Но скажет:

– Училище театральное – не резьбы.

А Вовка наш хорош:

– В конфетку превращу и оберну. Всё, что хотите. Хоть всю страну!!!

У той слюнки потекут. Как угораздило, занесло его:

– Гм-м-м...

– Что?

– Владимир... Все хорошо... Головку надо подравнять.

– Как? Всю? Или может скальп содрать?..

– Ну, этим вы меня не насмешите. А вот волосики ваши остригите. Потом! Что это за наряд?! Ноги, как гуси. Вы из гусят?... То есть у вас, как у гуся лапы горят.

– Это все Красный наш проспект...

– Ну, тем более. Обуйтесь, как все.

Довольные расстались. Пожимали руки. За дверью потирали руки. Дело сделано. Абалдуев – голова. Головина – балда. Ну, об этом не сейчас. Потом. Погодём. По-позже об этом пойдём.

Володька был парень, хоть куда. Опять же без малого – возраст Христа. Скажете: «Не поздновато учиться?» Учится не поздно – никогда.

Вырос в селении у кержаков – алтайских мужиков. Скулы круглы, как кулак. Глаза черны – насквозь, как игла. Нрав крут, но погодют. Если приспичит – спичкой чиркнут – все сполют. Одной. Сказала уж – закалку получил у кержаков!!! Да, по белу свету пробовать на дураков. Первые пробы не удались – обратным концом бревна, да по голове. Покантовался в психушке, и стали у него, уши на макушке. Но этого «козыря» не стал класть, чтобы себя не обокрасть. (Кто ж скажет про себя – не в себе). Про это лучше ни бе, ни ме. Ни гу-гу...

Ну, а дальше... Женился ранёшенько. Деток быстро наштамповал. Девку и молодца. Жена терпи. Смирень-

кая, вечно бледненькая. Беленькая, чистенькая. Умненькая, славненькая. Деток любит. И его дурака!

А он всё рубит, то из дерева, то изо льда. То на Красном проспекте в мороз. То в лесу – тёс.

А ее голубку не приголубит. А она добра. А она одна.

Стало скучно ему. Все гладко. Да, так гадко! Аж, жуть! Не вешаться же...в эту...муть!.. Как бы круче не сказать...

А он балагур. Говорлив. Руки золотые. Ну, как не пойти в театр – колотить, резать, пилить, да, всех веселить. Ведь, все мужики в один голос:

– Ох, артист!

Пока изо льда лошадок колотит, запряжет их ледяных, и-и-и за поводья. Смеху на весь двор – детворе.

Володька при полном параде пришел своих мастеров навестить. А они брови на лоб:

– Ты чё такой чесанный и в обутках?

– Учиться пошел.

– Это не шутка?

– Вы сами говорили – артист...

– Ну, ты точно артист!

– Ребят, не беда – лед сколоть успею всегда. А у директорши за труды кабинет отхвачу. Ну, ни ее, конечно. Другой...

– Да, ты у нас мастер дорогой.

– Приходите ко мне. С девок Модельяни будем писать. Они у нас сахар – сладь. Одну ужо нашел. Так с дурой хорошо... Не передать!!!

– А нам дур нашел?

– Там их море. Одно слово, артистки...

– Я вижу ты сам артист!

Закрутилась жизнь, завертелась. Вовка наш, как белка в колесе... Морда, как у лошади в овсе. Любят его – все. Девки виснут на нем, как на вешалке. А он посадит всех амфитеатром:

– Учитесь ребятки. Сверхзадачам своим, а у меня свои.

Мастерскую выбил. Топчан сколотил. Девочек на него водил.

Стал профоргком. У него ведь луженое горло. Начал порядки свои наводить:

– Кому что обрить?..

Ну, прямо директор. Или проректор. Хорош гусь!

Но я, чтоб не быть скучной такой вернусь к Головиной. Голова заболела у той.

– Слишком много на себя берешь. Я слышала у тебя завелась вошь... На топчане...

– Блоха. Ха-ха.

– Я с тобой не шучу. Если не одумаешься – проучу...

Котомку собирает. Песню артист напевает.

– Смеется тот, кто смеется последний, – подумал наш новый Шекспир. Одел толстовку, стертую до дыр. Дрын типа посох. И отправился в Москву. Попытать судьбу.

В поезде сюжетик сочинил. Как амфитеатром всех посадил. Каких кукол налепил. Для спектакля... А Головина – дырявая голова. Крыша съехала. Пол прохудился. Камень на голову свалился. Кому-то... В канализации – затор. А он, как профоргком видеть этого не мог без слез. Вот

и поехал, повез. Люстру хрустальну купила. И, видно, в карман кладет себе.

Листики Листьеву на вид положил. В программу «Вид». Любимов посмотрел. Облюбовал несколько страниц. Обещал репортаж – полный эпатаж. На этом заглох.

Но Головина больше не считала блох. На топчане чужом. Копать глубже стала. Докопалась до отклонений. Так модных в нашем поколении. Сколько валялся в психушке. На казенной подушке. И вlepила ходоку прогулы. А в ответ не скажешь – ни гу-гу...

Ну, что Володьке еще одна потеря. Он, что в себя не верит?

Володька не промах. Маханул на Тобол. Хоть не горняя, а дол... Но простор! Вовке нужен простор. Похлебка монастырская, ей, сладка!

Светла как янтарь. А он бывалый пахарь. Перешел в нову веру. Кержачью отклонил. И все не почем. Купола стал расписывать, своды – вот свобода!!! Духа. А тело? А Бог с ним с телом... Когда такая житуха!

Семинаристы зачастили. Уму разуму его учили. Что есть Истина? Кто есть Бог. Ведь наш олух – обалдуй обалдуем. Они его врачуют. Дух. А он малюет. И образа светлеют на глазах

А наш Абалдуев учуял и тут свой барыш.

– Девка-то моя не красавица, да пока молода...

Млада. Дочь его Лада. Ладна, пригожа – хороша.

Дал весточку жене, сыночку и ладной дочке, что де мол затерялся на Тоболе, не ждите до толе пока сам не

вернусь, а там с хлебом солью встречайте, да не одного... Привезу вам благородного... Почти что попа.

Дописывает все купола, да обратно на Красный проспект – гусем. И один семинарист не струсил, да с ним прибыл.

Увидал лебедь свою лебёдушку, голубь свою голубушку, молодец свою младушку. Ой, как долго ждал-искал. И заворковал, заворковал:

– А, девка-то хороша, ой, как хороша. Душа-а-а...моя душенька.

Талантом в отца. Художница. Кисточки сложила. Не тужила. И под венец. Вот молодец! Молодец. Уговорил. Нашу ладну Ладу будущий поп. Как же ему без попады, без помощницы, без сестры, жены и псаломщицы.

И стала наша девка – не красавица. Душа радуется – сразу матушкой. Не дожидаясь и месяцев девяти. Потому как семинарист, уж – батюшка. Рукоположили. Дали приход. Вон тот, что за лесом, за полем, по дороге долгой за поворот. И еще три дня пёхом. В него и уткнетесь. Работы невпроворот. И это радуёт. Зажили. Не тужили. Потому как Бога любили. И Ему Родному служили. А ведь с Ним всё легко...

А что наш Абалдуй?..Чего?

– Вот чаво!

Нашему б Володьке угомониться. Да поститься, молиться и молчать. А потом лики золотить. Он же стал вопить:

– Жизнь така тяжела...Куды мне? Я ж не святой, как зять мой.

И пошел, поехал, понес – не остановить. Ну, тут же вылезли психушки, подушки, подружки...Как без них? Ведь он псих.

А вы думали стих? Как же стихнет! Скорее вспыхнет, да все подпалит. Вот такой наш герой. Индивид. У родных за него душа болит. А ему все не по чем... Хоть бы хны.

Ну, робята, айда за мной! Поглядите на него – чё творит!

Вот зараза. Вот беда. Вот – ягода. Где ж те цветочки? Что были на лужечке. Сорваны, да принесены. В руки положены. Жены.

У Христа – станут одной плотью...А, если плоть больна? Ну, это не беда. Это крест. Неси, радуйся. Спаси, Господи! А, если...Душа...

Стала сначала понемногу хандрить. А он ее злить. Зла в ней не было. Заразил злом поганец – обалдуй. Но нету мочи это сносить. То отъезды, то приезды. То бесы, то бабы, то бабки. А у нее чугунки, да лавки. Хоть детей нет под лавками, а на лавке только двое...Все равно такая неволя!!!

И хандрить за двоих стала...С него, как с гуся вода. А у нее беда... Сидит, родимая, все цветочки рвет, а потом жует. Глаза тусклые, а ведь была синева. В глазах были облака. Куды, теперь... Маленький, тихий зверь сидит в глазах. И камень на сердце и в руках. Как в сердцах! Но не доводит – пока...

Вовка чувствует – и юрк, юрк – в кусты. То на Москвееке в домах обширных каминны кладет, то за три версты деньги гребёт.

А она одна одинешенька. Сын в армии. Дочь – в матери. Деток на лавке и под лавкой. Абалдуев приезжает считать:

– Вот молодцы! Молодец и моя... Душа радуется.

И тут... Зятек – рёк:

– Отец – ты уже не молодец. Не мне тебя судить. Господь судья. Но... Мать мы заберем... к себе. Ведь не нужна тебе. Тоскует. Горох о стены бьет.

– Да... я идиот...

– Я ее в лавру повезу. Духовному отцу покажу. И беса в ней свяжу. С Божьей помощью. А то не ровен час...

Абалдуев молчал. Только пальцами по столу стучал.

Батюшка прав. Что тут сказать... Надо его наказать... Но это уж дело Божье...

Абалдуев ушел. И не стал показываться на глаза. Он ведь, как зараза... Все глаза, как дым проест. И все ест и ест. Словно в нем червь. А может огромный зверь... Хуже б не сказать. Главное – ему не залаять бы... Только храбриться. А ну, как тяжёл. Камнем бы под воду ушел. А не зубы скалить. Долго ли ему красавцу шакалить?!.

Ну, не буду наперед лопотать... Все в свою очередь придет. Надо научиться ждать...

Ну, а мои родимые?... Мать забрали к себе. Еще одну детку стару несмышлену. Что ей у обалдуя в дому сидеть!

А так с детками повеселей. А потом думали, думали. Решились. Собрали котомки.

Детей под присмотр соседки приладили. Благословились. Матушку-сиротинушку повезли. До Москвы. До лавры. Молитвы над ней читать. А она причитать. Боится. На пол ложится и себя катать. Не вязать же ее, родимую, все ж человек. Причастили. Успокоилась на два дня. Повезли, не дожидаясь, огня агония.

Рвется голубка наружу – душа белыми крыльями. И нет ей покою-с покою. Все ей охота летать на свободе, на просторе, да на чистом вольном воздухе. И боится-трепещет черных воронов – сожмется в клубочек-комочек – ежиком. Тяжко ей та-а-ак...Тяжко. Ведь она широкая, безмерная, просторная...

Попривык к мерному скрежету, стуку колес. Задремал – уснул лбом-виском к стеклу отец Феоктисий. И вещей видит сон он. Бьет татаро-монгол звонким мечем по голове, по шапке лисьей. И они, как трава под ногами лежат. Ни вздохнут, ни пискнут. И прошел он по ним – по траве-мураве к речке быстрой. Переплыл ее – поклонился. Вышел.

Вдалеке купола – обжигают лицо золотом. И идет он к Царским палатам. А к Царю не пускают.

– Не готов...– говорят.

– Как же быть мне?

Вдруг явился блаженный старец. Молвил тихо вкратце:

– Ты, сынок, дюже хорош, доплзи за грош. Получишь – дюже...

Так же мигом исчез, а в руках оставил...Вольного, белого, чистого голубка...И крест.

Вот те и на...

Встрепенулся батюшка. Крестное знамение наложил. Помолился. За все Господа мысленно благодарил. Рассудил, что, то было. Глянул на руки. Словно в них голубок. И Божья радость в душе и спокойствие. Милость жертвы дороже. И, подумал, что приказ таков. Наказал своим матушкам ехать дальше, до лавры, ну, а сам пополз.

Вот такой наш батюшка, друзья! Не чета многим зятьям...

И пополз он, соскребая кожу с живота. Рубаха содралась давно, и ему было все равно. Обет дан был. Полз и тихонько скулил. Но не как собака. А человек. Уже век, желавший добра, и рубаху с живота, и с плеча, мог отдать ближнему. И дальнему, и первому встречному. И врагу. Да, что там рубаху – живот! Вот!!! За друзи...своя.

А для тещи больной мог ползти, даже слепой, не видя, куда ползет. Вот... Это ведь его Господь ведет.

Так хотелось помочь хрупинке. Божьей крупинке в мире таком...злом.

Добра она была, больна она была. Душа-душенька болела. Как овца порой бляла. И безмолвна была – овца овцой. Не ослица.

И так молчала, молчала, молчать – никто ее не учил. Так и ничего не сказала. Что говорить? Когда муж такое творит... Но даже молча можно свернуться. А она решила – свехнуться. Видно, нужен был ей выход такой.

А, вы, друзья, делайте вывод...Сами. И дальше пошли. Все еще впереди...

Не стану говорить, сколько он полз. Дней иль ночей... Невозможно понять нам умишком мирским, как Господь благословляет на путь такой...неземной. На земле.

Наелся земли, напился травой. И донес Господь на руках своих ни его одного...

Увидел стены лавры, не мечтал о лаврах – пустил слезу. Велел Господь – ползи. Сказал:

– Доползу – доползу. С Божьей помощью...

А я вам поведаю историю древнюю такую, как...

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Троицу Единосущную и Нераздельную. Слава. Жизнь отдал, храм возвел и монастырь. В монастыре том был слугою и рабом, нанятым для всех. Прорубал леса, строил кельи и дома. Сеял семена...Возводил к небу – лестницу свою. Чистую. Высокую. Святую.

Плесень в хлебе не смущала. Душу очищала жизнь в Христе. Страхование укрепляло, к бою вдохновляло со врагом невидимым и злым...

Чтоб благословить потом Пересвета и Ослябю – ратников своих на бой. Святой. Со живым врагом. Под покровом Пресвятой Пречистой Девы. Русь спасти многострадальную. Святую.

И нести с радостью и благодатью крест свой. Золотой. Переплавленный и слитый в брани неземной, незримой. Для смиренья и терпенья – суть Даров Святых.

Чтоб, как лилии – монастыри цвели на земле родной.
Чтоб звенел и пел Благовест по лесам и долам к горнему, стремясь.

Чтоб писал Андрей Рублёв Троицу свою, горем выстрадавшую.

Чтоб к окну слетались птицы белые, как свет. И воскрес ребенок мертвый, и воскрес народ. Заблудший. После многих лет...

Чтоб Царица Пресвятая снизошла с небес.

Чтоб горела молодая новая звезда. Варфоломеем, начиная, всюду нам светить. Возвестивши о себе трижды во утробе матери родной. Что появится на свет маленький святой. И младенца не вскормить матушке в те дни, когда предали Христа и распяли...Спал он. Манною с небес окормлял Христос. Бог кормил, Бог учил грамоте своей.

Чтоб возрос и взрастил птиц своих родных. А когда братец приник, то ушел в поля...Не одел и шапки властной... Не сменил он счастья – с Богом быть...

Радоница, радоница радонежские леса радуются. Радуюмся и мы с тобой.

И поля бескрайние, и луга зеленые, и родник святой...

Поклонились наши путники Преподобному до земли.

И полетели, полетели, черны вороны от души...Души-душеньки. А тело – тельце стало вдруг – непослушным. И слегло, и скатилось. На пол. Не об пол...Ангелы подхватили-поддержали по обе рученьки. И ручеек с кручени. И во весь голос все рыдала, лепетала все невнопад. Про сад, про цветы...Да про горе свое горюшко.

Да, которому, будто нет конца. И как жаждала, да напиться у Святого колодца. Чистой-то водицы, как слеза. Чтоб всегда благодарить всех святых. И Христа!!! За всю милость, да за благодать...За Отца!!! Да за радость...За Любовь! Да, за Духа Святого! И так без конца...

Очнулась наша голубушка. Женушка абалдуева, как спала. Во тьме. Темной ночью жила. Как налетела не заметила сама. А тут свет светел. День, деньской. И пустили три раза в источник святой. Народилась заново. Можно жить. Да, за все Господа – благо-дарить! И за скорби, и за радости, и за горести, и за сладости. Все к добру! Все ко благу! Знать бы то наперед. Вот!..

Не стали над ней читать молитвы... Без отчитки Господь управил во всем. Возвратились к детишкам в дом. И гостинцев из лавры привезли. И приехали радостью полны.

А наш Абалдуй колобродил, колобродил и забрел в лес. И чего полез? Не вестимо никому. Добродил.

Тесу ему мало с краю. Тянет ни на шутку в глухомань. Словно, как воронка – тайга. Взглянешь на нее – аж, дух схватит. Мощь. Богатырь. Русской земле поводырь. В ней богатство и стать. Сила Сибири. И всей страны. Из-за нее прикусили и язык, и губу...Многие.

Но про это я не могу...

А Володька наш скрылся из виду. Мастера ружья прихватили, да, за ним. Рыщут, ропщут:

– Дался ему этот тес. Что поглубже. Это ведь на погубье.

А другой:

– Зять прогнал. Вот он и стал сам не свой. Будто лезет в лапы к тетке... По имени Смерть.

– Ну, ты скажешь, тоже. Поэт.

– Что ж, это не секрет.

– Ты, смеешься? Когда он спокойно жил. На жену страшно взглянуть было. Ты на них балоны не кати. Лучше по следу иди...Авось отрыщем бедолагу. Ау-у-у. Володька-а-а. Ау-у-у...

На ту беду медведь шатун. Подошел сзади к абалдую. А тот даже не учуял. Так увлекся тёмом – только щепки летят.

Лапами так обхватил, будто клещами. Ни ахнуть, ни пискнуть, ни вздохнуть.

Косточки у бедолаги трещат. И увидел наш Володька – ад. Пропась. Смерть. Лицом к лицу.

Вмиг побелела его голова. Бездна бездонная бездна звала. Лицо – саван. Будто спеленали его. А сам он...Рвется, рвется, тянется ручонками, как малое дитё.

Ойё! Одним коготком, да с лица земли. И только истошный крик напоследок:

– Господи!!! Прости...

В тот же миг – вдруг – выстрел. Прямо в цель. Подкошил их. Рухнули заживо оба – Абалдуй и медведь.

Ну, что, родимые, схоронили Абалдую? Как бы не так! Господь уготовил ему путь другой...

Какой? Да вот какой!

Душа взметнулась ввысь. К Царским вратам ниц. Лежит Абалдуев весь в крови. Лбом в землю. И вопит все:

– Господи, Господи! прости, прости!

Вокруг слышит колокольный звон. И голоса хрустальным зовом:

– Вниз, вниз. Мал еще. Путь ему – в путь. Царь велит.

И обратно летит.

Приоткрыл глаза. Мастера его на горбьяке тащат.

И опять звенят голоса:

– В путь. Царь велит. В путь.

Гоп, ты Русь моя, гоп! Обойти тебя – топ да топ... И ни краю тебе, ни конца. Что для молодца стог сенца?.. А для старого... И ночлег – тебе и приют. А какой уют?! Как у Господа, да за пазухой!!!

Сирых, странников – Он хранит. Да вдовиц – без лиц от горя...Горе оно горемычное. Никогда не привычное. А у странников радость – светлый путь. То гречишные поля, то березы-то с ивами над рекой. На реке все лилии, лотосы, да камыш. А в кармане – шиш. И идешь, все идешь – не грустишь. Что грустить? Красота-то, какая!.. Божий мир.

А в стужу – мороз держит, бодрит. Где тут грусти-тоске и хандрить?.. Надо Божью молитву творить ровно сердцу в такт. Вот так!

Да и мир не без добрых людей. С миру по нитке. Вот готова одежонка-та тебе

– Мир вам!

Дверь-то и распахнется. Да и печка теплом одарит. Чтоб не размякнуть совсем, каплю вздремнешь на полене-то на березовом. И вот опять на поляне ты. Все белым-бело... Тянет в путь. И с пути тебя не свернуть. Долго шел ты к

нему во тьме. Обалдуем был, как во сне. На яву ты спал до поры, а пора пришла, и пошел. Ох, по-разному Бог зовет. И завет – благо-вествует.

Гоп, ты Русь моя, гоп! Обойти тебя – топ да топ... Абалдуев-то путь далек. А в конце пути – и-и-и высок!

Яблоневый Спас

Сказ

Намело... Мать проснулась. Открыла глаза. Умылась слезами. Вытерлась платком. Натянула одежду под одеялом. Села. Осмотрела избу. Черный пол. Черный потолок. Черные стены. Черная дыра в полу. Только три окна белые от инея и льда. Встала. Пошаркала до печи. Потрогала печь рукой – лед. Хрустнула прутьями. Бросила в топку. Последние. Зажгла лучину. Затопила печь. Залила муку вчерашним молоком. Перемешала. Вылила жидкое тесто на сковородку. Испекла впопыхах. Съела блин комом. Обула валенки с калошами – на случай сырости. Доху. И старую шаль – в дырку. Взяла пилу в углу. И пошла...

Днем раньше, пошла мать по дворам, пилу просить.

– Модный, дай пилу.

– А я тебе говорил, что Ваньку убьют...

– Говорил, говорил. Дай пилу.

– А зачем он картошку воровал?

– Не у тебя же воровал, а на колхозном поле...

– А вдруг у меня? У людей...

– Модный, при чем тут пила и Ванька?

– А при том... Что топор тоже для дров...

Мать искоса посмотрела на него. Ничего не сказала. И не заплакала. Только подумала: "Дурак..."

Но нашлись в деревне добрые люди – дали матери пилу.

В саду была тайга. Глушь непролазная. Деревья к деревьям прижимались так близко, как будто им все время было холодно. Мать выбрала дерево самое старое и несуразное. Начала пилить. Дерево не поддавалось.

– Старая, а жить хочется. А ради чего тебе жить? Ты все в этой жизни сделала. Накормила. Напоила своим соком и скот... И людей... Держаться за жизнь ради мелкой радости – два яблочка в год. Нет, родная. Так не бывает!

Мать пилила с каким-то остервенением. Пот падал в снег. Руки опухли. Ослабли. Выронили пилу. Ноги подкосились. Мать упала в снег.

– Сил нет. А все туда же...

Лежала в снегу. И, как в детстве, смотрела на небо. Шибко любила смотреть. А тучи барашками, иной раз и суровыми лицами людей плыли по голубоватой синеве неба. Плыли и смотрели на нее. Глупую и беззащитную.

– Ну, хватит валяться! Разлеглась. Не лето.

И опять принялась за бедную старую яблоню. Но та, даже подпиленная, стояла крепко и уверенно, как будто молодая и на следующий год будет плодоносить...

– За что, за что? За что убили-то?..

Мать сухо закричала, стукнула по дереву, бросила пилу в снег и пошла домой.

Дома обняла печуру. И заплакала:

– Как же эту старуху уничтожить? Ведь стоит ни туда – ни сюда!.. Дрова не хочу покупать. Да и не на что. На эту минималку дров не купить. Хоть бы на блин с молоком хватило...

Отогрелась. Посмотрела на руки. Как резиновые надутые перчатки. Опухли.

Зимой рано темнеет. Побоялась остаться на ночь без дров – отпилила большую ветку на скорую руку и поволокла ее домой по снегу, вырисовывая в пухе снега ажурное кружево.

Да. Уже смеркалось. Все прогорело. Чему гореть? Прутикам? Они вспыхнули – да угасли. И снова подбрасывай, да подбрасывай... Перевернула ведро. Бросила на него тряпку – для тепла. Ведро-то железное – холодное. Села. Стала ломать веточки от большой ветки. Ломала ветку за веткой. Да бросала в топку. И все смотрела на огонь. А куски пламени гнулись, шатались, боролись друг с другом, как трава от ветра, да и как люди – несчастные... Что-то суется, чего-то хотят, чем-то мучаются... Пока не надоест... То ли Богу, то ли им самим. Вот понять бы! Согласовывают это с Богом, али нет? То ли Бог указывает, а они как мотыльки летят в небо, к солнцу, закончив свой нынешний круг. И каждый улетает туда-а-а... С собой забирает ответ. А ведь думаю, знают ответ на этот простой вопрос. А мы только догадываемся...

В огне бегали фигурки – напоминали о прошлом...

На кухне сидела женщина вся в черном – платочек белый. Тщательно кусочком вымакивала в сковородке – хороша яичница с салом. Рядом стоял стакан стограммовый – пустой. Любила она яичницу с салом, сто граммов перед ней и молитву перед ним. Верила в Бога. Молила Бога, чтоб эта поганая, пузатая баба с ребенком не морочила ее сына. Хватит, нагуляла одного дитятю – ох, дюже

вредная девка растет, вертлявая. А теперь мого закомутать решила. Да, и пузатая, может не от него.

– Сейчас придет с колодца – так и скажу! – думала, слегка захмелевшая.

Вошла пузатая, разливая студеную воду на пол. За ней девочка лет семи – шустрая, быстроглазая. Встретил их теплый пар и побежал за дверь бороться с морозом. Девочка, не раздеваясь, побежала к котенку. Начала котенка теревить. Старуха, как-будто не замечая начала говорить:

– Ну, что голубушка... Как водица?

– А вы поели?

– Да. Спаси, Господи...

Сели лясы точить. Только уголки белые в такт губам. Старуха – божий одуванчик. Но как заскрипела дверь – весь пух слетел. Лицо окаменело. Пузатая удивилась. Оборотилась. А там сынок. Старуха – черный камень. К чему платок?.. Скорей клинок...

Вот те метаморфозы! И давай пилить брюхатую, как бревно. А оно? Гордое оно! Сердце-то...

– Да, уе...-им обоим в ответ.

Смирились – замолкли. До поры. Пора пришла. Ребенок синий вылез из живота. Как будто бедному – жить не хотелось! Что в жизнь – что в петлю-пуповину. Видно петля крепка была – рыдал до утра. Долго? Целый год.

Старуха сахарная стала.

– Копия! Кровиночка! – восклицала.

Старуха смирилась. И совсем. Но сынка попросила до своего родного края проводить. Ведь старая была – сил

нет... Хорошо провожание. За три девять земель. Куды бечь?! Проводил.

Пузатая – уж не пузатая. Что ж? С двумя байстрюками? Что ж? С двумя – так с двумя. Девчонка большая – нянькой может быть...

Да нет! Через месяц вернулся. Совестьный оказался мужик. Но разочарован был. Страшно. Ведь год – не до сна. Ведь петля – была. Хоть и кровинка, а рыдает – сил нет!!!

Отпоили от синева – лаской – молоком грудным. И стал хорош мальчонка – прожорлив был. Выпьет молочко – да кружкой пустой по лбу матери как треснет. Силен, видно – с малолетства. Посадишь на печку – сидит. А ходить-то начал – полез в подувало:

– Папа куреу... – сказал.

И волосы до макушки опалил. А на печи греется – не шелохнется. На печь ему и есть подавай.

Так вырос. Не по дням – по часам. Крупный – богатырь.

Пойдет по деревне гулять – полная голова красных кирпичей, да красная струйка у виска, а прозрачная у носа. То ноги в крови – собаки гнали.

– А зачем бежал? Нельзя от собак бежать!

–

– Вот так всегда!

То сидит на коровьих рогах в красных штанах. То со ржавым гвоздем в ноге – весь в соплях и слезах. Тянут, как репу. Вытянуть не могут. Выдернут гвоздь всей семьей – крику на весь дом.

– Станный он у нас. Все как-то не так у него...

Пошел в школу – палкой гонят. Не уйдет.

– Воспитывать!

– Но как? Не понимаю...

Лариса Ивановна знает (долго историю читает):

– Слушает про греков, раскрыв рот. Совсем не идиот. А вы – идиот, идиот... Гений!!! Нужен подход! Я его греками, римлянами увлеку. Отдайте мне: я его оберегу, я его испеку.

Решили гениальность развивать. Шахматы в зубы.

– Иди играть.

Пошел. Кто-то прошел мимо – толкнул. Шахматы по ветру. На асфальте черно-белый горох. На ту беду – машина на полном ходу. И стала дорога шахматной доской – прилипли короли да пешки. Вернулся пеший:

– Никуда не пойду! К черту – шахматы! К черту – люди! Вот в тайгу... бы.

Читает книгу Зверева о зверях. И мечтает о тайге:

– Буду охотником, и буду жить в тайге. Никто мне не нужен. Природа лучше и добрей. А эти люди хуже зверей. Все ищут чего-то – мучают себя и меня. Чего им не живется в надежном месте. Где-нибудь в тайге... Ходили бы с папашей на охоту, а мать нашу добычу жарила...

Мать подбрасывала ветки в топку, думала:

– Таежник мой...

Стало грустно и сладко от тепла. Ветер, как волк завывал в трубу свою песню. Слипались глаза. Сон морил. Затягивал домой – в поднебесье. Усталость помогала ему. Мать не сопротивлялась. За печкой было тепло и сухо. Легла. Разделась. Уснула. И полетела... Она летела, и лучи освещали ее. Было легко и свободно. Солнце

ярко светило в глаза. Трава переливалась радугой цветов. Мать-и-мачеха, зверобой, душица и полынь-трава, да разве все увидишь и вдохнешь. Сухая травинка-стебелек осоки болтался во рту. На поляне сидел сын. Смотрел вдаль. Потом, выплюнув травинку, взял корзину в руки, вытащил бутылку молока и пироги. Сидел, смотрел вдаль. Ел пироги. Пил молоко. Перекусив, собирал сено в снопы. Вечером приходил с зелеными ногами. Если хватало сил – отмывал. Не хватало – падал. С удовольствием коров доил. Весел и счастлив был. Над ишаками трунил. Как зайцев за уши – и, трепать.

С мальчишками ходил по ночам силос и клевер воровать. Чтоб коровушку свою любимую сытно накормить. А по утру вкусностей ей надает и сядет молоком звенеть о дно ведра. Звенит, звенит молоко коровье в ведре, а потом начинает журчать. Будто родник неистощимый. Отвяжет хвост, привязанный к ноге, откроет дверь и отпустит ее, родимую. К зовущим, идущим мимо коровам и телятам. А сам домой, да литр парного – за милу душу. Так счастлив был, будто о тайге не мечтал.

Что о ней мечтать, угрюмой. На природе, как на воле, везде хорошо.

Земля-матушка и накормит, и напоит, и радости даст. Чтоб жить – светиться, а не тужить – темниться.

Так прожил не одно лето в счастии и благодати. Пока пора другая не пришла.

Потащила мать сына до городу, будто уморить хотела с голоду. Будто дышать запретила воздухом. В город, где много угля, да "горькая" – змея. Глупа, что ль была, то ли темна...

Плохо сыну, когда мать глупа, когда мать черна, когда мать – земля. Потому как всё – она для него. Словно Бог. Да! Родила она его! Но – не Бог! Мать – сосуд. Мать – земля. Мать – простое дитя. У Святого Отца. И смиренно она должна слушать Его. Горе – матери глупице, горе – матери дьяволице!!! Как не слышит мать, что же сыну дать? Видела, как дышал и жил на природе, да на просторе. Да зачем ему нужна яма черная, с черным воздухом? (Будто смерти хотела, аль забыла добра "подсыпать").

Опустила его в яму черную – угольную. Опустила, да начала жалеть-приговаривать:

– Ай, сынок, сынок, ты родименький. Ты добро наживай, ты не трать не на что. Пусть побольше у тебя – будет его. Никому не давай, лишь себе забирай. Да и я попрошу, да и мне не давай. Чтоб богат ты был – чтоб богаче всех. Не смотри ни на кого – ни в этом добро.

Услышав шепоток, заглянул муженек.

– Да, чему парня учить! Ты в своем уме?

А в ответ:

– Да, чего тебе?

– Посуди сама. Тебя это доведет до добра?

– Да, о чем ты, родной? Не накликать бы беду...

– Да, я с вами с ума сойду!!!

– Не сойдешь...

Хлопнул дверью – восвояси ушел. Выпил здорово, да домой пришел. От бессилия – кулаком, да прямо в женин глаз.

– Да, бес в тебя вошел! Или точно ты с ума сошел?

– Да, что ж ты дитю говоришь? Как ты его растишь?

– Не дитя совсем!.. Рощу как умею, а ты мне не указ.

Вот и весь сказ!

Муж поостыл. Да, ведь как забыть? Загрустил. А жена? Что жена?! Злобу затаила она. Как посмел ее огреть! Она ведь – лебедь. Она ведь голубка – воркует, не каркает.

Глядь, свернулся мужик – не святой был. Пол-осени проболел, а к зиме – с копыт долой. Вот тебе и герой! Хрен бабу перешибешь. Да, такую, что себя вообразила... То ли Богом, то ли чертом. Но рыдала на могиле – слезу слезила. То ли сама не ожидала, то ли страшен урок...

Не прошло и полмесяца – сынок за грудки трясти:

– Что ж ты, сука, не можешь мне праздник преподнести!? Где свечи, где Новый год? Я что ж для тебя, как тот идиот?

Испужалась – страсть. Пришел к вечеру на Рождество – новый карась. Сына напоил, накормил. Бабу ласками спать уложил...

Сын забыл свою золку злить:

– Да, чего ж такого не пустить?

– Да, ты прав, сыночек, начнет нас кормить, деньги носить. А ты деньги копить...

Слякотно. Земля впитала зимнюю влагу. Ждала обсоха. Солнц. Чтобы выпустить из себя травы и цветы. Почки на деревьях набухли как будто груди женщины на сносях. Мать затаилась в жилище своем. Готовилась. Молилась. Думала. Ждала белых кружев на деревьях в своем, почищенном от старья и хлама, саду. Зимой, спилив старое и несуразное – обрела воздух. И деревья свободные друг от друга к весне распрямили свои крылья, как птицы готовые к полету.

Солнце пришло – осветило землю, да так, что через неделю яблони, как белые лебеди рядочками плыли каждая своим чередом из-под пригорка навстречу, шумя и переговариваясь при малейшем дуновении ветра. Теперь мать ни на минуту не задерживалась – шла протоптанной тропинкой к ним. Садилась у истока сада – глаз не могла оторвать. Чудилось ей то не яблони – лебеди, а невесты в самый пик торжества. А может, собрались на девичник – примерить фату за день до свадьбы. И среди этих лебедушек появилась ее невестушка.

– Ах, невестушка-невестушка, не домыслила я. Страсти тинные захватили меня. Мысли их не остановили.

Слезы накатывали и стояли в глазницах, как два синих озера. Ни туды и ни сюды.

– Что ж, родимая, не смогла я вам помочь. Да и чем поможешь? Заново не родишься...И родишь...ничего не изменить.

Села рядышком Маша. Поклонила голову на плечо. Встала, взяла за руку ее. Повела...

Он сидел на скамейке около больничного парка. Окружен был высокой стеной с проволокой колючей наверху. Ждал. Ждал долго. Врачи велели ждать. Она спала. Будить нельзя, поднять. Сидел спокойно, неподвижно. Тело занемело. Душа клокотала. Смотреть на людей не хотел. Куклы. Тряпичные куклы. Театр тряпичных кукол. Жутко.

Вышла она. Былинкою шла шатаясь. Села рядом, сжимаясь. Ежилась от холода, идущего изнутри. Снял пиджак. Надел на нее. Согрелась. Положила голову на коле-

ни. Легла. И заснула. Руками как шапкой накрыл голову и занемел.

Ветер дул, сбивая с деревьев одинокие желтые листья. Как засохшие скорлупки бились листья о голову, закручивались вихрем. Не находили места и покоя. И только красные, дикие яблочки болтались сережками на ветру.

– Маш, ты здесь не выспишься... Да и замерзнешь. Иди в палату.

Она проснулась. Мотнула головой, соглашаясь. Встала. Сняла пиджак. Шатаясь, вернулась в больницу. А он смотрел ей в след, желваками сдерживая слезы.

Отдал медсестре сумку. Пошел, спотыкаясь косолапыми ногами к воротам. К выходу. Выхода не находил: свадьбу отложить решил.

Свадьбу перенесли. На месяц. Не чувствующую ничего, выписали ее. И бледная, как "с корабля на бал" попала в белое платье...

Свадьба. Близится вечер к ночи. Мать рыдает в уголочке. И не пьет за здоровье дочки... И сына.

Причитает втихомолку:

– Господи, Христе... Где же ты? Где... Да, что ж ты не видишь, святой... Бог мой, я ли этого хотела... Как моему – да такую... Да тады – лучше б рябую. Где ж это видано – по дурдомам шляться, да лучше бы ему тадэ в гробу валяться...

А пришла беда – открывай ворота.

Начали невесту воровать. Выбежала за угол. Смерть своровала... Оборотились, воротились. Принесли белую на руках. Бледную, белую, со всем согласную...

Некого теперь пугать, некого страшать! Втихомолку некого гробом угощать...

Возвернула Марьюшка матушку. Посадила в своем саду. И сидит мать – то ли плакать, то ли рыдать. И ни дать – и ни взять...

Муженек-покойник пришел во сне. Ласково склонился ко белой груди... Потом прилетела летучая мышь, да за темечко теребить. Вцепилась коготками – не отцепить. Душа – комок. В сердце – холодок. Хоть бы глоток!!!

Проснулась мать. Да, давай отдирать. Да, потом рыдать. Бога вспоминать. Богу молиться, да в истерике биться...

И с того дня наша Девора, как в бреду. Помороке. Во мраке. Не хотела ту беду. В сердце. Мать. Сердобольная. Только больно-больно заблудная...Заблудившая в блуде. Похоти походя толчеют её бестолковую.

А пришла домой со гроба...Волосёнки рвать и одёжу на себе. И к одной стене, и к другой. И аукать, ненаглядного – нет. Сердце вырвется – мочи нет.

– Что же натворила я? Как жила? Что любимого сына изжила...Да не дна мне, не покрышки. Подрезала я всем крылышки... Чтобы царствовать... Да над кем? Чтобы барствовать... Да над чем? Все-то царство мое – дом пустой. Черный он, да гнилой. В дырах весь. Все хотела извезть – извела. До чего я себя довела...

И рыдала она сто ночей. Не смыкала стеклянных очей...

Троицын день. Мать за плетень. Шпарит по пыльной дороге. В церковь Петра, что на пригорке. И подойдя, крестится трижды.

В лоно, войдя, падает на колени. Голову – в пол. Слезы – в подол. И на букетик.

Слушает тризну...

Смотрит на лик – молитву твердит:

– Нощию содержима мрачною... и темным мраком покрываемого страстей... Светом покояния озари мя! Светом покояния озари мя! Светом покояния озари мя!

Студных помышлений во мне...точит наводнение тинное... и мрачное...

Увы, мне великогрешному, иже дела и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникли от земли, душе моя, и покайся от злых дел твоих... – просит она, мать покаяния и прощения у Бога.

Трепещет «зарей». Морем залей – слез. Мокрый «зарей» лежит у креста – в память...

Липа. Доска. Строит ковчег на доске. А за ковчегом поле, лузгу. Опушью укрепляет края. Лен-паволока – скатертью на реке. Левкас темперу на грудь зовет. Куры несут желток. Темною тонкой затинкой. "Личное" на санкирь. Охра хранит лики. Плавают плавемя. Живо живут оживки – бликуют на лице. Клеит осетр золото. Инокопь на листе. Льном начинал он тканым, льном разливаным кончил.

Водку налил в стакан он. Хвост от селедки сгрыз.

Жалостливо поплакал. Жалобно завыл. И поплевал на руки. Маслом краску отмыл.

Плачь – не плач не воротишь. То, что сам проворонил. То, что сам уронил...

Мать маслом маслит. Масло икрой покрывает. В дом любовника зазывает. Да, не того карася. А другого – гуся. Который отбился от утки – подмышку свои шмутки. Бежит – спотыкается, как успеть к пиру, к чертогу чертову с ведьмой во главе.

А та старается, ворожит – как косточки им погложет... Да, перышки пощипает, аж, дыхание у нее замирает.

Сын в незнании живет. Только болит у него живот. Да, ворчит на карасей, да на гусей. Ворчит, да молчит. Потому как, горькая как слеза – чиста и крепка. А после нее покой, покос – трын-трава не расти. О том, что впереди не надо думать – угрюмо.

Смотришь, у гуся – голова с плеч долой. Тюк – и нету.

А потом боров пришел. Все рассказывал как хорошо у них на свиноферме...

Ведьма подкормила еще – отборным, сладким. Тут и его час пришел...

Сын матушку за грудки трясет:

– Ну, что ты развела сарай, помет!

– А кто гуся с яблоками скушал? Или ты хотел с грушами?..

Сын онемел. Вот поворот! Подумал. Что-то возразить имел, но не посмел. Руки опустил. Ушел.

А мать – давай воевать:

– Как посмел ослушаться? Кушал, кушал. Вкушал, можно сказать. И оскорблять – в морду плевать. Издевать-

ся – драться. Так нельзя долго ждать. Надо что-то менять – предпринять.

И давай чертей (своих друзей) на сына насылать. Чтоб не смел на мать, руку поднимать.

Косы – космами. Стан стеной. Страсти скомкала и стрелой. Шепчет – шепотком нашептывает. В сердце клювом клюет – собирает народ: нечисть с духами:

Да, такие слова, что с души воротит. А сын – ничего. Съест. Проглотит.

Почует недоброе, но закусит сдобой и дальше заживет.

Да, не тут-то!

В квартире 13 Новый год встречал? У них плащ кожаный пропал.

– А я тут причем?

– Показали на тебя.

– Это ...ня.

– Ну, ругаться будешь потом, а теперь пойдем.

– Да, за что?

– Там объясним потом...

Щелкнул металл на руках. Вот так! И доказывай, что не осел, не дурак.

Били до крови. Вешали собак. Вот так! Руки заплыли, занемели. И доказывай, что не козел, не ишак.

Несколько форточных и несколько драк. Вот так! Потом, вдруг, смягчились и отпустили. Видно, поняли, что не виновен наш тюфяк.

Но пригрозили:

– Сиди, никуды – ни-ни.

В штаны наложил и заблажил. Бежать куда глаза глядят решил...

– На, паспорт – беги! И оглядываться не моги! Схватят – страсть, жуть. Я этого не выдержу.

– Не виноватый я...

– Ты докажи, что не свинья!

– Что же мне делать – боюсь?!

– Это тебе плюс – ноги будут быстрее лететь.

– Я ведь медведь. Тяжело мне лететь.

– А ты на перекладных. Сначала до Самары. Потом до Москвы...

Ну, и побег, побег...Только не взял оберег. Кто и что уберезет, если сам себя не сберег. Вот и в Москву побег. Будто Москва – оберег. Москва – крест. Если в нее залез.

Ох, Москва золотоглавая.

– Фу, ты, бес занес!..

Тёс. Наждак. Леса. Купола под самые небеса. Известь. Цемент. Черная ряса из-за угла.

– У меня нужда есть. Может быть, не весть что... Но.

– Говори сынок...

– Батюшка!..

– Но...

– Иконы пишу. (Может быть, ропщу.) Дайте счастье попытать. Стены распишу – ахнете.

– Бог тебя благослови. Ты, молодец, мусор сперва убери. Вишь, браток, работа. Мастерок – валяется. А там поглядим, на что ты способен.

Губки надул наш художник. Мусор. Цемент. Наждак.
– Что я дворник, дурак? – подумал наш молодец.
На нет, и суда – нет. Вот и весь ответ. Вот и весь совет.

И поехал в деревню глухую. И зашел в дом пустой
и стал в нем жить. Горькую пить. Горевать. Да, иконы
продавать.

Лик пресвятого Николы – грустно смотрел с иконы...
Последним был продан и он. За тридцать рублёв. Ясно,
что не Рублёв. Но непротивно, а сладко. После горь-
кой – тепло.

Хотя черная дыра, пол, потолок. Ноги до топчана до-
волока и ладно...

А за ним мать.

– Что же терять? Когда сына нет. Некому ложечку ман-
ки положить. В ротик. Хоть и обормотик, но – мой. Уста-
ла от него, но как без него. Он в деревне глухой замерз-
нет, захиреет без родного тепла.

Собрала котомку и к поезду пошла.

Приехала и опять кормить, и опять поить – парным
молоком. А сто грамм и сам нашел. Выпил – стало ему
хорошо. Она послушная – никого у нее нет. Кроме роди-
менького сына. У окна ждет его и день, и ночь, ну, Соль-
вейг – точь-в-точь.

Пришел сынок домой. То ли глухой, то ли немой, то ли
сам не свой. Глаза зверька – без огонька, без проблеска.
– Ну, что, сука-мать, лежишь?

Мать молчок. Ушки на макушке. Хвост – трубой. Страх словно у кошки. Куды бечь старой? От себя не убежишь. То хлебаешь, что народишь.

– Ненавижу я тебя – покалечила ты меня...

И давай все воротить, бить, колотить. Что возьмешь с него. Зло в сердце. Пьяный угар. Страсть – дьявола дар. И побежала по дворам Девора. А вокруг затворы, заборы – не перемахнуть. Злом зла не победить. К утру возвратилась до дому. Мышкой нырнула в постель. Вздремнуть. Глаз не успела сомкнуть.

Опять вспомнилось ей. Свекровь – вся кровь. И плоть. И путь. В платочке: только уголочки – белые. А туда же – судить:

– Куда укажу – туда и пошлють!

Некуда взглянуть. Нечего ввернуть. Ни словечка. Выгнала взашей из-за печки. И-и, давай толкать. И, давай швырять. Все – вперед. Через огород. Сад. Вниз. В овраг. И бежишь ведь, как дурак...Задыхаешься, но бежишь. В кулаке – шиш.

– Ты у меня сейчас полетишь!

– Да, за что ж? Бог мне судья – не ты ж...

– Вниз, собака! Свинья! Зажралась!

В овраге – черная дыра. В тартарары.

– Прости за ошибку, прости!!!

– Нет, ты уж слишком, ты шибко! Лети!!!

Крик. Проснулась в холодном поту. Сын валяется на холодном полу. Рядом с ямой...

Пол скрипел. Как медведь зарычал. Об пол кулаком постучал. Кто-то его подкачал. И давай реветь как медведь – от обиды:

– Ах ты, сука-мать, гадость... Я б убил тебя... Да, жрать нужно...

За грудки потряс – с час. Плюнул в рожу. Кулаком слезу утер. Развернулся – ушел.

Мчалась к поезду – котомка в руке. Тайно. Украдкой. Страх душил. Страх бежал по пятам. От испуга глаза – в пол-лица. И казалось, что этому нет конца. С ритмом сердца колеса забились в такт. И дома промелькнули. И леса промелькнули. И вернулась домой. Из деревни глухой. Страх прошел сам собой.

А после Троицы – день Святого Духа. Мытарям – умыться и очиститься.

Тяжело мать поднялась на пригорок. Шутка ли – горе. Грех. Висит. Душит. Непослушный. Ты его туда, а он обратно. Тошно. Ой, как тошно. Это тебе не слезы на букетик. Это ведь – исповедь.

А с утра читала каноны и била поклоны. Благо – лоб толоконный.

Вошла в церковь, перекрестясь. Богу помолясь, подошла с поклоном к иконам. Целовала их иступлено. К батюшке решила – подошла. Батюшке, рыдая, рассказала душа:

- Мучилась грехом своим. Хотя он на двоих.
- Ты свои грехи на других не вали. Ты свои грехи не дели.
- Да, ты батюшка, прав. Господи, прости...
- Перед Богом за свои грехи отвечай.
- На мне, батюшка, какая-то печать...
- Печать на ней...Какая-то...Крест! Вот и неси...

– Крест...Верно, крест...Такой тяжелый, тяжеленный крест.

– Не ропщи. Каждому по грехам...Какие твои?..

– Мои? Страшные мои...Я убийца, батюшка...Я убила сына сваво...

– Не вали и чужого. Известно кто убил...

– Да ведь можно и любовью убить...

– Глупая, это не любовь...Любовью можно воскресить...

И давай мать причитать, рыдать, слезы утирать. И опять причитать. И все-все рассказывать, что накуролесила за жизнь свою и до чего дошла её душа. До какого дна. Пала. Не думала. Не вставала. Голову не поднимала. А если Бога вспоминала, только во зле...

– Ну, хватит рыдать. Готовилась к причастию?

– Да, била поклоны и читала каноны...Но не знаю достойна ли...

– Иди. На колени. И моли, моли, чтобы Бог простил.

Стала на колени и молила, молила, плакала и молила.

Не заметила мать, как к концу служба стала подходить...

Причастилась мать. Вышла на волю – воздухом подышать. Дух перевела. Слезы вытерла, которые с утра. Пошла на кладбище. Вокруг поле, река – все чисто...

Стала Девора и всю себя вычищать. Стал Господь ее Телом и Кровью приобщать. Да почаще, почаще причащать. А потом решила, благословила на соборование. А это уже шаг... Из такого мрака перешла...Как во сне... Лязг, визг по ночам...Буря, брань...Как без нее?.. А она встанет на колени и за нее... За молитву...День и ночь – сутки прочь. Хоть и немочь одолела. Хоть и вся душа бо-

лела... И шатало, и крутило. И о стены било... И тянуло
вспять. Начать. Опять. Но решила...ни на шаг...Назад – ад.

На амвоне пахнет ладаном. И так ладно там. Благо-
дать. Куды там вспять. Душу отдать, готова...Мать

Люди рядами стоят. Ждут зова.

– Благословен Бог наш... – снова и снова, во все преде-
лы земли, – ныне, и присно, и во веки веков.

Держит Девора свечу в руке. Слушает смирно. Запах
летит. Летит по храму. Мирю.

Думает:

– Лучше уж со Христом умирать, чем служить миру...

– Господи, грешную мя... Помилуй!!!

И на соборе семи. В соборе. Семь раз, взывая к Богу...
Молятся семеро наших отцов, Благою Весть возвещающая...За
нас хромых, за нас слепых, за нас глухих. Бесчеловечных...

Он шел по дороге, вдоль реки, пыльно-серый, а во-
круг него люди черные – в черном. Так обступили – кон-
воем, как капкан. На медведя. Медведем и был. Непово-
ротлив и туг. Ходили так все лето – до глубокой осени.
Таскали коричневую от земли картошку. По ночам сту-
чали в окна – продавали ее. Потом садились пить горь-
кую... Потом он падал... Черным казалось мало, и они,
что ни попадя, брали в руки и шли продавать. Когда ни-
чего не осталось у него в покосившемся доме – они от-
рывали доски с потолка и тоже шли продавать. Благо он
спал крепко – не мешал им. Когда все, что могли ото-
рвать в покосившемся доме – оторвали – показались

дыры. И ветер со свистом врывался в них. А вместе с ветром – крупинки снега.

И, так как осень переходила в глубокую – было холодно. Особенно без горькой... Утешало одно – он не один таков. У старика напротив – крыша обвалилась. А у него – стояла. Но свет не без добрых людей. Пустил городской. Мужик – что надо. И дом в порядке, хоть в нем и не жил. А только приходил. И сам человек как человек. Виды видывал. И на зоне был и в Чернобыле. А как не быть – горка крута. Как на машине спокойно съедешь? Того и гляди. А глядеть после горькой – в четыре глаза, а все одному. Тут еще машина, какая – автобус-крохотуля. Ну, и набилось-то всего двадцать местных. Вот те и, кроме, машины, и люди приплелись...

Да, вот только Чернобылем биографию и выправил. Да, и деньги опять же – пенсионные наработал. Гуляй – не хочу.

– Но чистоту люблю – соблюдайте... – с этими словами старика слепого на один глаз и его – пустил. Да, как не пустить? Старик ему дядькою был. Родная кровушка.

Дом оказался теплый. Печь беленькая, как девочка стоит посреди. Ну, все чин чинарем. Живи – не хочу!!!

Старик слеп, да не глух... В общем – человек. А, ежели человек – человек, то даже медведь с ним по-человечески. У старика операция на глаз намечалась. И стал он его водить до городу в больницу. Все любовались – два Ивана. Стар да мал. Хорош мал! Возраст Христа имел в кармане, если глянуть в паспорта. Так что мал – не мал, а вот стар – стар. Два «мала» возраста в нем.

А когда положат в больницу – глаза чинить обещался исправно ходить. А пока – водил. Незнамо на что жил. Кто что подаст. То на поминках, то на попойке, то на помылке. Народ угодлив для юродивых. Чем не юродивый наш медведь? Просто святой, если слепого из больницы водит домой.

Благо, в тот день бабка померла, хоть и год назад, но помнят и сейчас. Как не помнить – стол набит. Тут есть, что поесть и попить. Ну, и два Ивана тут как тут. И напились, и наелися, и унесли – пуд. Тяжела ноша, когда ноги слабы. Да, не тянет... своя Бросили ее на стол, а сами – на пол. До кровати не дошли – ноги заплели.

Над нашим медведем, как муха летает бабка вся в черном, которую поминал он.

– Отвяжись, родимая... – шепчет губами.

– А она родимая – так льнет, так тянет... И аукает:

– Пойдем, да пойте-е-ем...

От испуга проснулся, будто протрезвел. Видимо, со страху – в портки наложил. Ну, и сам удивился:

– Ах, Иван, труслив стал братец... – сам себе заявил.

Снял портки и на кровать упал. Но до утра не доспал... Черт приволок из городу мужика. Хозяин – он суров.

– Ах ты сука! Каков! Я ли тебе не говорил – чистоту люблю. Ты понимаешь? Я за это – убью!

Но Иван спал мертвецким сном, хотя был пьян, но здоров. А второй Иван проснулся на стук. Хозяин малому обухом топора – чистоту вбивал.

– Что ж ты, окаянный, с молодым творишь?..

– Ах, ты сука! И ты не спишь!

И махом старику голову разmozжил. Но покоя не находил. Как по орехам по головам бил, бил, бил... Устал – топор из рук упал. Глаза черным черны. Красным красны. Как будто это не человек, а дьявол проник. Еще через минуту – вдруг приник. Посмотрел на печуру – (ведь к чистоте привык). Чистота победила! Побежал по воду. Пол стал вымывать, а трупы складывать. И старика бросил под дом к молодому. А молодого в глубокой колодец у реки... В надежде, что труп с водой уплывет навеки.

–Пройдет время – все пройдет... И в стариковской смерти молодого обвинят. Так как следы под домом у молодого – сам старик...– разложил все по полочкам чернобыльский мужик.

Видно, и юродивому нужен покой. Летал над колодцем, над деревней, над городом, над Деворою – громко звал-кричал. Месяц!.. Но в деревне со страху никто не слышал. Как услышать? Чтоб тебя тож под орех... Другое дело городские – к дядьке в гости пришли. Полюбоваться – зорок ли стал? А тут в крыше – обвал.

– Да, он в доме у чернобыльского мужика жил, уж с осени.

– Племяш пустил?

Заглянули в дом племяша:

– Ну, и где?

– Да, вот что-то не видать...

– Долго ли не видать?

– Да, мож с неделю, а може и больше...

– Ну, вы даете! То шепнуть страшно – все знают в деревне. А где дядя Ваня, да месяц аль неделя не знает никто...

Пришел капитан. Дом осмотрел. Печуру плохо забеленную узрел.

Что-то ты плохо белишь – пойдём со мной.

Потряс хорошенько, как грушу – мужика. Тот все показал наверняка. И месиво под домом, и месиво в колодце... И обух топора.

Несли его в черном гробу. Те же – черным конвоем. В гору. Теперь четко понятно – капкан.

Да, снег белый – кусками-хлопьями, как туман. Да простор горы у реки. Да покой... И могильный курган... слезами залитый сполна.

Рассвело... Мать проснулась. Открыла глаза. Луч света пробивался в окно и освещал комнату янтарным блеском. Встала. Умылась родниковой водой. Надела легкое ситцевое платье. Взяла корзину. Пошла в сад. Вернулась. Поставила корзину с красными яблоками посреди комнаты. Взяла одно. Облила водой. Хрустнула. Сок брызнул в разные стороны. А глаза остались сухими... Села на лавку сосновую. Замерла. И полетела мотыльком в небо, закончив свой нынешний круг.

БЫЧОК

Рассказ

Солнце золотило реку. Ручей, вливаясь в нее серебристой прохладой, оживлял – молодил её. Раскиснув от палящего июльского солнца, набрала в ладони этого живительного серебра и омылась. Причастилась святым источником. Напоила разгоряченную долгой ходьбой, утробу. А это значит – хватит сил забраться на горку, на которой стоит мамина деревня, глядя окнами на Оку. Забралась. Посмотрела вокруг. Какой же простор здесь... Широта. Свобода. Дух захватывает. Над старой полуразрушенной церковью заблестел крест...Радостно.

Я приехала к маме. На самой горе еще раз вдохнула. И побежала к дому. К маминому дому...

В доме мать налила из банки прохладного молока:

– Пей...

– Ты чё корову завела?

– Да нет...Какая корова... Я бычка купила в апреле дохленького! – весело затараторила мама, – А сейчас он красавец. Крапивой поила его всю весну. Такой плюгавенький бы-ы-ыл. Весь в шишках и лишках. На ногах не держался. А сейчас прыгает, бегает, брыкается озорно. И с козами бодается, неутомный...

Как интересно. Бычок. Я не могла дождаться вечера, когда погонят стадо...

Вечером, когда весь простор у реки и реку, солнце залило красотой неопишуемой, пригнали стадо коров с черно-белыми пятнами. Они громко мукали, на что мама сказала:

– Здесь только эту породу держат – цветных всяких не позволяют. Нет никакого разнообразия...

Я засуетилась:

– Ну, где же он?.. Бычок-красавец?

Мама промолвила:

– Ну, что ты, он у меня с ними не ходит. Пустила раз – он такой замороженный пришел. Я его с козами отправляю. Он у них как король

Я удивилась:

– А разве смешивают стадо?

– Не смешивают. Да, вот я Митьку Косого упростила за дополнительную плату. Посмотрел он на меня искоса своим глазом. Да, кто ж откажется у нас в деревне от лишней пол-литры, – грустно сказала мама, – Правда после нее ночью опять стучал, еще просил добавить... Но ничего, зато бычок при месте.

А я не унималась:

– Мам, как же к нему козы относятся?

– Как относятся? Прекрасно! Он у меня и в сарайке тоже с козлятами ночует. Пободаются и спать лягут. Прижмутся друг к дружке спинами. И спят. Тепло им вместе.

Прошло коровье стадо заложило дорогу своим живым ароматом. Мухи, роем летающие над коровами, потстали и сели греться на круглых коровьих лепешках. Ну, а мухи покрупнее и всякие оводы отцепиться от ко-

ров так и не могли. Вкусна им кровушка коровушек. Вот и живут на них.

Прошло полчаса и тут только забежали козы. Мама сказала: «Здесь у меня сложное дело – я побежала». Вылетела из дома встречать своих коз, как угорелая. Бычка не было видно. Я сидела и смотрела на всю эту картину в окно, как в телевизор. Вдруг, как на экране, крупным планом, прямо ко мне в окно заглянул бычок. Он смотрел своими умными огромными глазами прямо в мои глаза. Я удивилась – он смотрел мне прямо в глаза! Как будто почувствовал, что его ждут и о нем говорили. Я думала, что они ничего не понимают – животные, и смотрят мимо тебя, но он смотрел в окно всей своей мордой, всем своим существом. Мукнул, головой мотнув, показывая на дверь сарая: «Ну, что ты сидишь, как у телевизора? Я же живой! И хочу в сарай, что мне здесь стоять у окна. Я не привык стоять у окна и заглядывать в него. Просто я почувствовал, что ты приехала и хочешь меня видеть – вот и заглянул, а так – никогда не заглядываю в окна – у меня и другие есть дела поважнее».

Я все поняла и побежала открывать дверь сарайки, чтобы впустить его. Он был теплый, большой, гладкий и красивый от крапивы запаренной, как мама и говорила. Я погладила его с нежностью. Но он был холоден, как будто все тепло и внимание мне отдал в окно. А может быть потому, что был занят своим важным делом. Чинно вошел в сарай.

Подошла мама с козлятами, следом за бычком загнала их, но это ее не успокоило, и она пожаловалась:

– Дура у меня одна есть. Купила ее недавно. Все идут домой, а она побежа-а-ла! Я ее загоняю, а она обгонит меня и дальше вчистила! Пока не нагуляется – не приходит. Иногда в час ночи придет. Иной раз соизволит и раньше. А! Вон! Вон – она! Пестренькая! Белка, Белка, Белка!

Побежала мама за пестренькой, не нагулявшейся Белкой. Но Белка, как услышала мамин голос, так зачастила копытами, только пыль по дороге... Не утонишься.

Солнце уже зашло. Облака узкими жилками розовели в небе и отражались в реке. Мама вернулась, так и не найдя свою вредную Белку. Бычок с козлятами пободался, деля свою малюсенькую сарайку. Так и не поделив, они легли спинами друг к другу, согрелись и уснули.

Потом пришла, насытившись свободой, Белка и начала чесаться о столб во дворе. Мама успокоилась, подоила недотёпу и легла спать. Все успокоилось и уснуло. Только сверчки завели свою ночную перекличку. Да слышен вдалеке лай собак...

Через несколько дней я уехала. А бычок остался. И до глубокой осени ходил с козлятами в стадо, как король...

От мамы долго не было писем.

А когда пошел снег, и земля примерзла, мама позволила мне:

– Встречай посылку, на десятичасовом отправила.

Муж поехал на вокзал и привез кусок мяса. Есть мясо я не могла... Вместо него стояли умные, огромные, открытые миру, в шелковых, черных ресницах, добрые глаза бычка...

Когда плачет Серафим...

Рассказ

И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. (МФ 7; 27) Воистину так. Я проснулась от грохота во сне этой обрушившейся башни. Не испугалась. Не суетилась. Знала – это я. Мне не было грустно. Что есть... Это правда. А против этой правды есть только Истина. Ее я и пошла искать. Не находя в себе и на йоту...

Нищий монах попросил у меня на дорогу. И, чтобы я услышала ушами своими – в Дивеево. И я услышала. И пошла дальше.

У другого монастыря меня остановил человек и дал мне образ Серафима, чтобы я видела глазами своими. И я увидела. И пошла дальше.

На вокзале купила билет в оба конца. Чтобы найти и начать Начало.

Наступил вечер. Села в поезд. И вспомнила. Именно тот вечер и тот поезд. Гонимая...С пузом. Думала о монастыре...От отчаяния. А сейчас ехала в монастырь. Воспоминания наваливались...Тут же отогнала молитвою ту жизнь, чтобы не окаменеть, оглядываясь назад. Боялась. Не было той беспечной смелости, что была. Прожекторы заглядывали в окна вагона на ходу. Пролетали мимо маленькие станции. Скованная укачалась и уснула. В купе, как в клетке. Снился бред.

Бабушка взяла за руку и повела... И ехали мы с ней в автобусе. Как когда-то в детстве... Привезла. И я увидела, где они теперь живут... Странная такая деревня. Завела в избу. Но странная изба. Дед сидит у печи и топит печь ту костями людей, а может зверей. Я – им:

– Воды вам принесу с колодца...

– Взяла ведра и пошла по воду.

У колодца – народ. Смотрят.

– Ты чего?

– Я по воду...

– Ты чья? У нас таких нет.

– Водички бы деду с бабою... – гремлю пустым ведром.

– Нет, родимая, зря ты здесь. У нас таких нет, – запыхал махоркой дряхлый старик в ушанке набекрень.

– Ты посмотри на себя, – защебетали наперебой, как сороки, бабы, – откуда такая чистенькая-то явилась, то ли забылась...

– Пш-ла, пш-ла отселе, – пыхтел, как из трубы старик.

Я поверила им и пошла. И посмотрела на себя. Какая-то, то ли белая, то ли наивная. Поняла: в деревне мне этой не жить.

Попрощалась с дедом и бабкой. Поехала обратно. В свои края...

Проснулась. Продрала глаза. Подъезжаем. Раннее утро. Темно. Метель подметает снежком. Боялась проспать или не спрыгнуть. Уехать дальше. Минуту поезд стоит. Проводница визгливо будила. А потом двухметровый парень всех за секунду снял и старуху больную, тяжелую с котомками и меня, как пушок (пост помог). С легкой сумкой, в которой вещей на один день.

Да и как можно бояться в родной город приехала? Родной город не возможно проехать...Малышкой двух лет жила в Арзамасе и Фатей себя называла. Видно, Серафимушка подсказывал, как меня по-христиански зовут.

Сидели в кафе с теткой и отцом. Я кулачком в грудь:

– Фатя! – гордо.

– Кто Фатя? – они

И опять кулачком в грудь:

– Я Фатя...

Арзамас я не помнила. Никто и не вспоминал. Меня вспоминали. Какая забавная в два года была. Вспоминали всей семьей.

Особенно дед. Как приедешь к нему в гости, он каждый раз одно и то же. Стоит у своего фанерного шефанера. Откроет дверцу. Из шкафа торчит черный костюм с орденами, а он о дверь чешет спину – всю в ранах, исполосованную автоматной очередью. Чудом остался жив. У кого ноют раны. А у него чешутся. Почешет старые раны о фанерный шкаф, потом живот шариком поскребет рукой, наденет рубаху и обнимет, крепко-крепко.

– Дед больно, ты что?!

Потом губами загудит, как паровоз.

– Я уже взрослая, дед, а ты все паровоз мне показываешь.

Он смеется. И вспоминает в сотый раз:

– А вот в Арзамасе посадят тебя на окно. Ты сидишь смирно. Ножки подожмешь. И смотришь на улицу. Вечером наши с работы придут, и ты начинаешь.

Дед заливается смехом и сквозь слезы показывает меня двухлетнюю. Как я брала палку, вязала узелок. Под-

вешивала на палку и закидывала на плечо. Потом вышагивала, говоря:

– Коза молят? Топ-топ. Коза молят?! Мордва на базару идет...и копирую их язык мордовский. В Арзамасе много было мордвы, и они шли на базар мимо нашего дома. А я потом, топая своими ножками, с котомкой на плече, их показывала в лицах всему дому. Все хохотали до слез. Дед до сих пор вспоминал и всегда с мокрыми глазами от смеха. Удивлялся, как я выучила их язык просто наблюдая их из окна.

А потом вспоминает о себе. Про войну, фронт, концлагерь. Становится серьезным, молодым и немного взбудораженным. Я слушаю, раскрыв рот. Про него мне все интересно. Другая жизнь. И страшно. Как в него стреляли, когда он бежал, как ели черви его спину и как чулом вернулся.

Вдохнула. Воздух святой. Светает поздно зимой. Метель небольшая. И я, поблагодарив высоченного нашего благодетеля, не задерживаясь, пошла под крышу вокзала. Автобус на Дивеево через час. Как будто, прочитав мои мысли, подошла женщина вся в черном. Говорит:

– Можно на такси...

– А там как?

– Там у меня есть хорошая женщина – устрою. Икона Серафимушки у нее мироточит. Такие из глаз слезы...

Я посмотрела женщине в глаза. Черные. И вспомнилось: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда

говорит: «возвращусь в дом мой, откуда я вышел»» (МФ 12; 43-44) Спросила:

– Вы монахиня?

– Нет. Я на послушании. В Дивеево послушание самое долгое. До десяти лет.

Она начала странно причитать. Мне вдруг стало от этого не по себе – тяжело. Подошел мужчина и предложил поехать на машине. Мы быстро согласились.

В машине я села вперед, чтобы не утомлять никого разговорами. Женщина засуетилась. Стала паниковать. Боялась гололеда, ветра, метели, которая уже стихала. И водителя. Я приободрила ее и она, успокоившись, замолчала. Чтобы не заразиться страхом – я начала молиться. И вместе с Богородицей радоваться. Какое счастье я еду в Дивеево! Господи, какая радость! Какие поля и просторы! Какая белизна – спящая! Какая радость – жизнь! Господи, и только этой радостью, что Ты даешь, мы живы!!!

Доехали. Нет – долетели до Дивеева. Я вышла, увидела золоченые купола, сверкающие в лучах утреннего солнца, и собралась, было сразу в храм. Адрес хозяйки я запомнила. Но...Долг платежом красен. И мы поплелись с моей спутницей по скользкой длинной улице к дому, где плачет Серафим...

Зашли. Поклонились хозяйке. Перекрестились на красный угол. Батюшка Серафим смотрел на нас.

Я огляделась. Дом как дом. Старуха как старуха. Брови только чересчур черны. Приняла радушно – яичницу с желтыми желтками пожарить меня попросила. Но есть у нее не хотелось. Спутница моя суетливо отказалась, вынув из сумки сок.

– Нет, нет. Вот у меня сок есть.

Я поклевала чуть желток и выпила святой воды. Глянула на портреты на стенах. Старинные...

– Это вы? И брови такие же. И глаза.

– Да сама стала белая, а брови сохранились. Вы надолго?

– На день. В ночь поезд.

– Надо побыть.

– Не могу.

– Дети?

– Дочь ждет.

– Вы летом вдвоем приезжайте. Летом у нас ласково, тепло.

– Хорошо, постараемся.

– Ладно, мы пошли...– женщина засуетилась снова. Что-то бабке говорить стала. Я ничего из их разговора не поняла. Только подумала: «От себя не убежишь...» Начала собираться.

– Мы уж, пойдем. Покажу ей источник. Провожу до него. Пусть нырнет с головой. А там к Батюшке пойдет. Благослови.

Старуха благословила нас левой рукой:

– Как сломала летом, так и болит, не проходит. Не срывается. Потому простите, что левою...Мы вышли на воздух. Морозно, хорошо. А в доме чисто, иконы, тепло, но почему-то возвращаться не хотелось.

– Ты не знаешь она страшный человек...Приезжал летом отец Трифон с семьей останавливался, так она и на него. Он уехал, а она руку сломала.

– Она не страшный, а несчастный человек. Тяжело кости срастаются на старости лет

– Ничего ты не поняла, знаешь, чем она занимается. Ужас...

Я посмотрела на Галину и опустила голову, ничего не сказав. Хотя хотелось сказать, а зачем же, тогда меня сюда привела...

До источника шли молча. У источника поклонилась ей до земли и поблагодарила. За все надо благодарить. Попрощались. Женщина в черном пошла своей дорогой. А я вошла в часовню поставила свечку. Помолилась, а потом вошла в купальню и разделась. Надела на себя крестильную рубашку, которую заранее припасла для купания. Чтоб не быть нагой во святой купели. По ступенькам деревянным спустилась в обжигающую воду. Все замерло. Дух перехватило. И-и-и...Во имя Отца...И Сына...И Святого Духа. Вынырнула в третий раз. И бегом из воды, и скорей растираться, думала, чтобы не околеть...А от меня пар валит и становится так жарко, как из бани...Оделась. Вышла на улицу. Солнце ясное, чистое. И откуда не возмись голубь сел на голову. А я стою как вкопанная и не знаю, что делать. Боюсь спугнуть... А два других у крыльца...

Я шла по ледяной улице. Осторожно, чтобы не упасть и не растерять найденное...Взглянула на дом, где плачет Серафим. Но заходить мне не хотелось. Отправилась прямиком в монастырь.

Оказалась у канавки Царицы Небесной. Ступила на нее и начала: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ

наших». Тонкая кромка льда покрывала дорожку. Идти было тяжело, как будто что-то мешало. Но я все-таки шла. Не отступала, повторяя благодатные слова. Они согревали, бодрили, вели.

Как замечательно уже почти половина пути пройдена. И в этот момент, вдруг забыла слова. Шла, не могла вспомнить ни единого слова молитвы. Я их твердила казалось в сотый раз... Как же это возможно?.. Я не понимала. Потом неведомо откуда вернулись. Смущение отошло. Появилась легкость, но счет я потеряла. Да, это теперь и не важно. Теперь главное – идти. Не упасть, не поскользнуться, не отойти. Карабкаться, что есть сил... Обратной дороги нет. Как будто в последний день жизни. Крошечной, человеческой жизни. И от этой мысли стало, как ни странно весело и спокойно на душе. Идти становилось легче и легче. Чуть летишь...

И осталось совсем чуть-чуть. До какого счета я дошла – не знаю. Один Господь знает... И радуется вместе с ангелами твоим первым шагам... К Нему...

Сошла с канавки, и такое небывалое счастье пришло ко мне.

Шла поклониться Батюшке. У мощей только вспомнила все свои горести и нужды. Помолилась. Поплакала. И стало отрадней, как в детстве после слез. Поклонившись, утерлась, вышла из храма. Взяла в соседнем храме сухариков начала звонко хрустеть. Зазвонил колокольчик. Наступил обеденный час в монастыре. Монахини шли к трапезе парами, друг за другом, делились радостью, которую Господь даровал им в этот день...

Отправилась и я в трапезную для паломников. В трапезной пахло квашеной капустой и корицей. Обед был очень простой, но такой вкусный! Освященный молитвой послушниц и монахинь. После трапезы, пошла в лавку выбрать образец Преподобного и книжку о Дивееве. Зарылась в книгах и не заметила, как пролетело время. Нужно отправляться обратно. Уезжать не хотелось.

Выбрав книгу о Мотовилове, сразу же начала с интересом ее читать. Потом села в автобус. Пахло бензином. Смеркалось. Качало. Не считаешь. С нетерпением ждала, когда доеду.

На вокзале, ожидая поезд, опять взялась за книгу:

«Утром 2 января 1833 года в день праведной кончины Преподобного в ранний час, Мотовилов не вошел, а вбежал к Антонию в его внутренние покои. Святитель встретил его такими словами:

– Сегодня ночью около двух часов я видел старца... Старец этот пришел ко мне в великой славе, но лицо его было скорбно, и слезы текли по его ланитам. О чем ты, великий старец, так горько плачешь? – спросил я его. Не о себе плачу я... Об одной помещице...

– Да эта помещица... Это душа моя грешная – о ней плачет мой Батюшка, отходя ко Господу.

Велика была скорбь Мотовилова, когда по приезде в Саров он увидел только свеженасыпанную могилу...

Мотовилов тогда же купил дальнюю пустыньку отца Серафима...

Это были первые шаги Николая Александровича на пути пожизненного послушания, наложенного на него Старцем.

Но с этих первых шагов его на поприще служения Дивееву началось на него и нападения вражды. И с какой яростью произошло это восстание!

Вот о чем плакала душа Преподобного...»

Всю дорогу в поезде стояли передо мной глаза Батюшки Серафима...От этого не могла уснуть. Читала.

Домой приехала спокойная. Подумала – надо нести свой крест дальше, чтобы, когда подойду ко рву, положу его, чтобы перейти на другую сторону...

Прочитав последние строки этой книги уже дома, ко мне пришел ответ. Простой и ясный, как Истина.

Плачет Серафим о нас бедных. Взывает ко Господу. Слезы льет. Чтоб мы остались живы – не умерли. А если от нападений умрем, то милостью Божией покаемся и воскресли. Как эта мертвая старуха со сломанной рукой... Оставляет и ей надежду.

Конный тать

Рассказ

Сладкий запах осоки. И свист, если пальцами провести. Но, можно порезаться краем до крови. Писк осоки-травы не забудешь – в ушах долго будет стоять. Навязчиво что-то напоминать... В мягкой зелени лежишь, млеешь. И следишь.

А они, родимые, пасутся рядом. Гнедые, буланые, в яблоках, каурые, караковые, вороные... Белые – сказка. Необъезженные – большая возня. Кто сметлив – быстро дело, а так кости ломать, больно надо. Лучше красотку гнедую двух-трехлетку.

Вот-вот идет травку щиплет, жует. Хороша-а-а... На карачках подполз.

– Ну, иди, родимая, иди... – ласково хлебушком поманил. Покормил, по морде погладил, не вставая. Встал. Ласково аркан нацепил. Хоп на нее ловко запрыгнул и она твоя!

– Ну, касатка, давай, – хлопнул, пришпорил по животу, – Валяй во все лопатки, катай-валяй!

Лети. Только крепко держись за шею. За гриву, как за уздечку. И за аркан. И во весь галоп! Не оглядываясь! Что б дыхание даже не схватили! Не учуяли никто! А, если почуют – подсекут... Тогда – держись. Зададут – будь здоров. В колодки загремишь...

– Сказывали, что в Китае руки рубят. За это. Да, что ж все китайцы безрукие, те, что на руку не чисты?.. Да...

Славненько... Да...Забавно,— мысль бьет в висок, как будто на волосок от гибели...

На дорогу стрелой и пыль столбом. Потом опять в просеку, в лес – след замести. Хитер он, как лисица.

Проскакал верст двадцать. В просеке лошадь остановил. Родниковой водой напоил. Сам облился и утолился. Ведь не на шутку утомился. Сколь лет дело это манит, а все ж таки нервы – каждый раз. Вроде аз, но раз на раз не приходится.

Потом схоронился в густой чаще. Переждать суматоху до утра.

Жил этим промыслом десять лет. Жил – не тужил. Даже под ложечкой не ёкало. Все живут, как могут...

Отправился как всегда и в этот раз. Но токмо мысль китайская не давала покоя: напала на Архипа булга*:

– Ну, варвары и все тут. Руки рубят. Зверье. Оно и есть зверье. Ну, ежели у человека страсть такая, что теперь рубить его...Как же он без рук трудиться будет.

Тут вдруг тоска такая навалилась на усатого, чернобрового Архипа. Привязал он коня к белой березе. Сам лег на траву. Надобно передых дать себе и лошадке. Долгий впереди путь. Закручивая свой длинный ус правой рукой, левую подложив под голову, стал вспоминать детство. И страсть свою. Как он часами смотрел в поле на табун лошадей и мечтал иметь, хоть одну, но свою. Так нравились они ему, родимые. И гривы их, струящиеся по ветру, и как бегали на воле. Как резвились жеребятки и пугались каждого шороха. Удивительное животное и необыкновенной красоты, и необычайной силы. Только слон, в Африке сильнее ее. И быстрая. Господа даже

скачки устраивают, чтобы посмотреть, какая лошадка побыстрее будет. Только беречь ее надо и лелеять, чтоб не загнать. Это тебе не верблюд по пустыням ходит с двумя горбами. Нажрет их, потом кормится.

Вот так в мечтаниях своих Архип вспомнил, как он стал старше и не удержался раз... Потом другой...Итак пошло все своим чередом. Разохотился к этому делу. Уж, оторваться не мог.

Но рассказ соседа о китайцах давеча, изложенный ему невзначай – не понравился.

– Чтой-то Тимофей мне такие сказы баить взялся. Не заподозрил ли чего...Он хоть и косо́й, а все вечно высматривает и вынюхивает. Неужто, и здесь углядел? Нет, не мог. Как я ховаюсь, до деревни обратно пустой прихожу. Не мог!

Архип никогда, ни у кого даже и спички без спросу не брал. Но лошадки были его страстью. Никогда он не обижался на отца, что тот по нищете своей не имел, даже тощей клячи. Думал, что вырастит, сам своих заведет. Да, и в первый раз ему казалось, что просто сел покататься. А потом оказалось, что и вернуть нельзя...

Прошло десять лет как миг. И вот он стал здоровым, усатым мужиком. Черные кудри из-под картуза отливали синевой. Синими глазами, будто ряской потянутые озера, глянет строго. Сердце у баб заходиться и дрожь по всем членам. Бабы от него глаз не могли оторвать. Все канделябры юбками своими пухлыми вырисовывали, даже замужние не отставали. А они ему не почем.

Он все на своих лошадок. Смотрел, и наглядеться не мог. Стал потихоньку сбывать. Капиталец появился. Женился. Сам в деревне трудился. Вне подозрений. И сбы-

вал их подальше – за тридевять земель. Чтоб никто не узрел, и даже не догадался, что он через них богачом стал. Жил скромно. Так, иной раз с ярмарки поярче жилетку привезет, да жене платок весь в цветах. Как будто просто разбирается в красоте... Не чета некоторым сельчанам. Только одно мучило – деток ему Бог не давал.

Задремал Архип в своих воспоминаниях. Так сладко заснул, до слюны в уголках рта. И снилось ему как в детстве, что скачет он на белых своих лошадках, скачет и заливается смехом. Смех раскатывается по лугам, по полям, по реке – отдается эхом. И так ему хорошо, привольно, как в детстве. А он все скачет и скачет. Все выше и выше. И уж на небо скакнул. А под ним вместо настоящих – белые лошади из облаков... И вдруг начинают таять, таять под ним. А он уж и вниз летит...

Проснулся, вздрогнул от такого сна – испужался. Чтой-то нехорош сон показался ему...

Потом резко встал, отряхнул кафтан, умылся у родниковой водой – сон стряхнул, достал из сумки уздечку, нацепил на морду касатке, закрепил, запрятанное седло в потаенном месте, кудри причесал, наваксил сапоги, картуз нахлобучил. Сел на новую свою лошадку, и поскакал, куда глаза глядят. Все ему не почем!

А глаза глядели на ярмарку. Дорога известна. Вышел на тракт. А там до ярмарки и рукой подать, если быстро мчать.

Над всем городом лился благовест, когда Архип, сидя молодцевато на кобылке, подъезжал к ярмарочной пестроте.

Не успел Архип подъехать к воротам ярмарочным, как на него словно птичий гомон в лесу в солнечный день, навалился балаганный шум. С прибаутками, со свистом, песнями и плясками, с шутками и балагурами вся эта канитель. Скоморох дрынкал на балалаечке, приговаривал в своем балаганчике:

«– Эй, господа, пожалуйте сюда! Здравствуйте, жители провинциальные, ближние и дальние: немцы-лекари, евреи-аптекари, расейские бары, астраханские татары! Господам купцам, молодцам, девицам-красавицам – мое почтение!

Не проходите мимо, милые дамы и господа! У нас сегодня Цыган – открывает балаганные ворота. Цыган подхватил, выводя лошадку под узцы:

– Я из табора цыган
Лошадку пригнал
Расчесал ей шерстку гладко,
Накормил соломкой сладко,
Ленты в гриву навязал
И копыта подковал.

Вынырнул из толпы Петрушка, да давай глядеть в зубы коню.

– Лошадка лягается, над Петрушкой насмехается!

Не хотел глядеть Архип про цыганских лошадей. Вестимо откуда у цыгана лошадь. Да, мелькнуло в голове:

– Только все им цыганам не почем.

В животе загудело. Отовсюду ароматы. Да, слова слаще меда:

– Яблок ранет, каких на свете лучше нет!

– Огурчиков, огурчиков! Зелененьких огурчиков, хрустящих, блестящих! Ни у кого лучше нет!

– Кому квасу, холодного квасу? С моего кваску не брошишься в печаль и тоску!

– Идите ко мне съесть сметанки с молочком и закусить бубликом!

Лоточники безумолку, продают сбитень и пирожки:

– Сбитень-сбитинек пьет щеголек!

Тин-тон-тонаны,

С ячменем пироги,

Пряники, коврижки

Калачи и пышки!

А Петрушка не умолкает, песней зазывает:

– Конь ретивый

Долгогривый

Скачет полем,

Скачет нивой.

Кто коня

Того поймает,

Игру первым

Начинает!»– но не нужны Петрушкины игры. Слюнки потекли у Архипа, но есть на ходу не к чему. Хорошо бы по-человечески в харчевне подкрепиться.

Подъехал. Привязал лошадку под окном крепко-накрепко. Дернул дверь и колокольчик защелбел, как птенец, напомнил хозяину о приходе гостя. Мальчонка подбежал, пригласил за стол Архипа. Все чин чинаром.

Только принесли стопочку для сугреву, блинчики с семгою, да с икрой, чтоб утрене подкрепиться, как вдруг видит мужичка плешивого у кобылки.

– Ишь, плешь подзаборная, лапу запускает на лошадку мою, – догадался Архип, – ах, ты, гусь лапчатый!

Выскочил из трактира, как ошпаренный. На крыльце осадил себя, напустил спокойствия для виду и важно подошел. Глянул строго на недотепу, который и не собирался красть, а только праздно любопытствовал. Архип посмотрел на него. С ног до головы обмерил. Не торопясь, начал:

– Ты чего прохвост около моей лошадки кумекаешь, глаза лупишь, ластишься? Никак увести ее вздумал?

– Да, так гляжу – больно хороша.

– Хороша, да не твоя. Уходи отселе подальше, чтоб тебя и не видал, прохиндей*.

Кулаки сжал, зубами скрипнул, и молнии из глаз сыпанул.

Ходок, видно, испугался, стал потихоньку отходить. Пока не исчез за трактиром вовсе.

Архипу уже было не до харчей. Аппетит пропал. Пошел дальше. И стало ему отчего-то так жутко.

– Видно, все ж таки, мужику важен моцион. А-то тускло как-то на душе становиться.

Архип грустно поплелся вглубь ярмарки к конным рядам, по пути наткнулся на большую картину.

Засмотрелся, как райская птица крыльями размахалась по всему холсту. Глянул колко на художника:

– Вот у тебя птица счастья с человеческим лицом... А где-то оно счастье?... Для человека... Да счастья ведь за алтын не купишь.

Лубочник нелепо пожал плечами:

– Про счастье ничего не могу сказать, ни разу не встречал по дороге жизни, а вот картину недорого отдам, хоть вместо счастья будет. Бери ее, не пожалеешь.

Архип представил, как он явиться с ней в свою деревенскую избу и принесет вместо счастья Катерине картину. Постоял, будто ожидая ответа у самой птицы. Ничего, не сказав, задумчиво пошел дальше. Да, и что говорить, не повесить такого полотна ему никогда в своей лачуге. И не заменит она им счастья...

Душа томилась, что-то особенно тревожило, как бы он не хорохорился с утра. Даже среди балагана и мишуря ярмарочной, он все не мог позабыться. Хотя и с делом приехал...

Неподалеку стоял фокусник, показывал свои фокусы, выдыхая, как дракон жар-огонь. Детки взвизгивали от ужаса и прятались за мамкины подолаы. Раек сказку сказывал, дети смотрели чрез толстое стекло. На каруселях катались. Дрессированные медведи под бубен танцевали. коробейник подошел с серьгами и колечками. Но Архипу было не до того.

Вышел к амбару, купил овса для лошадки, привязал торбу к морде. Хоть ее покормить. Чтоб во время торга не стояла без дела, а при надобности показала свои довольные зубы.

За амбаром возле ветвистого дерева амурничала тетёшка с новым кавалером. Кокетливо торговалась.

Подошел к конным рядам. Выбрал для себя местечко поудобней, привязал лошадку, погладил, поднял глаза.

Как будто на него мужик шел, шатаясь – в руке бутылка с бражкой. А баба позади, все рушником охаживала, будто поглаживала, приговаривая:

– Насударился, опять насударился, разбойник?! Ужо с самого утречка! Вся ярмарка на тебя глядит, а тебе все не по чем.

Мужик глянул на бабу лениво:

– Ты че, как курица насупилась и полотном все стучишь, ведь я тябе хозяин, кажись?

– Супостат ты, а не хозяин... Хозяин в лавке, на поле... – глянула остро на Архипа, – лошадок продает...

– Да, ежели у меня были бы лошадки... – мужик замотал пузырем, как бичевкой, над головой, так закрутил, что баба испугавшись, в сторону отскочила, – я тебе тогда по всей Ямской – жару дал с колокольцами!..

Архип не успел насмеяться над парочкой – гусь, да с гагарочкой, откуда невозмись – сосед своим глазом на него зорко глядит так, а рот в улыбке распротстал:

– Ты откель?..

– Да, оттель!..

Подошел к лошадке, начал поглаживать и глянул на нее, как на знакомого товарища.

– Доверил ли кто тебе такую лошадку? Али как?

– Ты чудак, любопытен больно... Я погляжу. Че те за дело, – стал вихлять, будто почуял Архип, что жареным запахло.

– Да, я подумал, грешным делом, не татьбою ли промышлять сосед мой взялся.. Дай думаю погляжу.

На те слова, как по приказу – пристав во весь рост. Архип заметался, куда девалась, бывлая статья. Туды, сюды. Кувырком. Кубырем. Полетел вверх тормашками. Покатился между ног по всей ярмарке. Торк в двери, торк в ноги.

Шашть в бок, шашть в другой – ан деться некуда. Как волк о рогатины бьется. И скалится, и дерется. Убечь норовит...

А тут подмога – мужик хрясь бутылем по голове. Не пожалел, бедолага, остатков добра, ради такого дела.

Очнулся Архип уж связанный веревками по самое горло. Кровища с бражкой вперемежку. Тошнотно ему. А сосед так игриво:

– Кто таит, на том горит. Супротив начальника не иди. У него, что ни слово, то рогатина, все супротив.

– А ты не такой... – не унимался Архип. Поднял голову и уронил.

Бросили его на тележку, как бревно и в дом для допроса повезли. Голова у него болталась в разные стороны, как чужая...

Возвернули Архипа, замотанного по рукам и ногам, в свой уезд. Потом дознаваться повели. Усадил пристав супротив себя Архипа и давай пытаться:

– Откудова касатка такая у тебя?

Архип молчал. Собирался с мыслями. Они будто утки расплывались по болоту. Голова трещала. Собрать их не доставало сил. Тело ныло. Говорить настроения не было.

Пристав махнул рукой, тут же спрыснули Архипа водичкой, чтоб пришел в чувство или хоть заговорил бы... Архип вздрогнул от неожиданности. На минутку взбодрился.

– Отвечай. По татьбе приобрел ее? Всю подноготную рассказывай. Давно этим делом промышляешь?

Архип глянул колко на пристава – оскорбился подозрением.

– Ты на меня не зыркай, глазами-то не буравь! Не испужаешь. И обиду не корчь из себя. Отвечай по-человечески, иначе ты знаешь, как бывает: татя пытаются – кости ломают. Или толмача тебе надобно.

– С чего взяли...

– Ты не вихляй, не вихляй. Не умничай: умнее тебя в тюрьме сидят.

– Человек упросил для работы сей.

– Брать чужих лошадей без спросу?

– Не-а... Не торговый он, а у меня легкая рука.

– На татьбу?...

– На ходьбу, да на денежки.

– Ты шутить будешь в кандалах. Видно, сибирщины захотел хлебануть...

– Ему значит тяжело и не с руки продавать.

– А ты знать, ворованное с легкой рукой сбываешь. А он татьбою промышляет? Тогда отвечай кто таков?

– Он свое...

– Ах, вон чаво... Свое значит... Ты мне басни не сочиняй. А как быть – жалоба, что из табуна пропала такая же лошадка по приметам, как ента касатка. И хозяин признал... Сосед твой все выложил, что приметил недоброго за тобою...

– Гм-м... А этот к вам архаровцем записался?

– Это тебя не касается! Ты про себя отвечай.

Архип понимал, что сосед не очень-то их убедил. Мало ли кто мог умыкать лошадку, да ему отдать на продажу, но молчал.

– Что молчишь? Или опять на некоего показывать станешь?. Тогда говори кто он. Не скажешь, кто тот человек?

Не то розги тебя ждут, да под затвор на десять дней без маковой росинки....Не заговоришь, знать Богу душу отдашь. Мы с конокрадами по-свойски управляемся.

Архип упорствовал. Да и что ему говорить? Фантазии, может быть, и хватило, но совесть не могла ему позволить клеветать на кого-то. Молчал. Будь что будет.

Составили циркуляр. Медленно и тщательно. Будто ожидали, что он все-таки заговорит.

– А теперь, ребятки, дайте-ка ему наказания хорошего!

Избили Архипа до полусмерти. Потом охранник отомкнул замок, Открыл дверь. и втолкнул одной рукой качающегося, увечного Архипа. Архип упал, стукнулся оземь. Крысы разбежались по углам. Он хотел, было подняться, но потерял сознание...

Архип лежал на земляном полу. Крысы обнаглели и сновали туда сюда из норы в нору. Пол был весь в проединах и ходах. Аспидов нора. Мухи облепили тело, особенно кровоточащие раны. От боли и жара начал бредить. Чудилось ему, что табуном мчатся, во весь галоп на него черные кони и нет им числа. Весь свет заполонили и все на него, а он не может никак, не может подняться, оторваться от земли. Они мчатся, несутся на него стеной, сплошным черным потоком. Приближаются. И в последний момент он отрывается от земли, подлетает к дереву, огромному одинокому дереву и карабкается на него с огромным трудом, сбивая пальцы в кровь, ползет по дереву, забирается на самый верх, на макушку. А черные кони мчатся мимо и вокруг дерева. Он в ужасе смотрит вниз. Всю землю покрыло адское стадо...

Насилу открыл глаза. Пришел в сознание. Хотел сглотнуть слюну. Страшная боль цепко держала за горло. Горло было как камень раскаленный. Хотелось пить. Казалось еще минуту и умрет от жажды. Стал искать глазами, хоть каплю. Хоть каплю воды.

Подполз к двери, постучал в нее. В ответ – тишина. Еще постучал, из последних сил. И снова потерял сознание.

Очнулся оттого, что что-то капнуло на его лицо. В первый момент подумал, как у пристава брызнули на него. Но нет, за окошечком крошечным шел дождь – хлестал по земле, по крыши, которая хлипкая видно была, прохудилась, промокла и не в одном месте протекала. Вот и на него капало. Он подвинулся удобней и открыл рот. Сглатывал капли дождя и как будто заново оживал.

Случайно увидел. В углу пробивалась, сквозь стену и земляной пол трава осока. Подполз, ослабленным телом. Сорвал. Начал жевать.

Напился дождем с неба, наелся травой, и опять уснул от бессилья.

Так прошло в муках десять дней. И десять ночей.

Как и обещало начальство уездное, так исполнило. Но остался жив. Архип сам удивлялся такому повороту. Вся душа к небу вопила. Жив остался! Господи!

– Дождливое лето nonче выдалось. Потому и покос хорош и луга зелены до сентября.

– Да, я ноне с телегой в овраге увяз. Полколеса в жижу. Ташу, ташу – нету сил. Ребят на подмогу. Господь помог – вытащили.

– Ну, отворяй, отворяй, не болтай. Тать, небось, уже окочурился. Пора хоронить.

– Вестимо окочурился. Кто ж без маковой росинки выдержит столь дней...

– Наши знают, как с татьми воевать, чтоб не повадно было.

– В запрошлом году, небось помнишь...

Архип проснулся на их голоса. Поднялся на локти. Охранники остолбенели. Встал натужно на колени, дошел на них до двери, цепляясь, за нее поднялся. И шагнул к свету, на волю.

– Неужто жив, Господи... Неужто жив я?

Ему не верилось еще больше, чем мужикам, что не помер, дожил до этого момента, когда дверь таки распахнулась.

Вышел Архип на околицу, шатаясь, как стебель надломленный. Но глаза его были радостными и даже сияли, будто видел он великое какое чудо, глядя на свет белый, на небо яркое своей голубизной. Аж, до рези в глазах. Видел то, что другие не могли теперича видеть. Белых лошадок в облаках. И звучно слышал, будто кто ему говорил:

– Вот жизнь тебе. Живи и радуйся. Да, почаще на небо смотри. На небо. Да на белых лошадок... небесных. И не зарься на земных.

Понял он, что сподобился радости великой и милости. Да, обвинялся ты Архип пред людьми, да оправдался пред Богом за муки свои... Вот Он и оставил его жить, чтоб жизнь изменил.

Дочь Василисы

Рассказ

*Шумел камыш, деревья гнулись,
И ночка темная была,
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.*

Неслось разлиvisto, протяжно по всей деревне.

Клавдия и Федор гуляли под эти разливы, ворковали, и томно прижавшись, друг к другу, заканчивали прогулку долгими поцелуями...

– Клав! Поди отсюда...Подобру-поздорову тябе гряу...

Клава молчала. Чего говорить? Уж поздно. Живот полез на нос. Выход один – сидеть, не сдвигаясь и молчать. А там Господь пусть управит...Раз такое дело вышло.

– Клавдия! Посмотри на себя. Ты в своем уме? Тябе говорят русским, наверно, языком...

Клавдия поправила оборочку на подоле, она чтой-то примялась. Вообще, была девицей всем известной своей аккуратностью. Вот так прямёхонько, ладненько и решила закрепиться на печи.

– Ты, посмотри, глупая, до чего ты докатилась. Раздуло тебя. Аж, лопаешься. Ну, и что с того? Не возьмет он тебя. Не нужна ты ему. Зря ты тут печь зафрахтовала. Печь наша. А дом твой вон где...

Пальцем ткнула в окно мать Федора. Женщина работающая, сухая и немного злая. Особливо, если не по ей-ному что...В запале могла иной раз и треснуть чем...Но редко. Шибко мордобою в деревне не приветствовался. Потому как она, эта деревня была тихая, ласковая, как речушка. На реке и стояла. Домик к домику. Все ладные. А вот песни лились. Протяжные. Иной раз, грустные.

– Так у Клавки в этот раз с души песня просилась. Сил нет и терпежу. Запела бы, да уж понимала Клава, что не тот момент. Будуща свекровь не выдержит такого нахальства. Сидела на печи ни гу-гу, как рыба какая. Да и что говорить? Сама виновата. Поторопилась ласковой быть. Вот те и получай каскад любезностей от свекрови...Будущей. Запомни и не мечтай. Мне така шустрa невестка не нужна. Ишь, уселась. Я тебя сюды не звала. Мне твоя помощь не нужна. Сама справлюсь.

Клавдия в помощницы не просилась, и слезать с печи не шелохнулась. Хотя тетка Мотя в жбан сыпала муку и готовилась заквашивать.

Ох, любила Клавка еще девчонкой мамке пирожки и кулебяки помогать печь. Такие пышные, получались, аппетитные.

– Ты ведь во чё удумала. Я считала, что ты человек. Деввица. А ты ведь собака заблудная. Блудила на всю деревню. А тыперича блуд свой к нам в пузе принесла. Мы тебя таку красотку примем...Шире рот открывай!

Клава чувствовала тетю Мотю и принесла работу на случай суровости бесповоротной. Достала из торбочки вышивку. Стала свое мулине накладывать крестиком.

– Ты, голубушка, не обосновывайся, не обосновывайся. Тебе тут не дом. Взялась вышивать, будто у себя дома. Я, значит за жбан, она – за нитки. Слыш, меня!

Клавдия ускоряла ход иголки, но рта не открывала.

– Ты, немтырка, что ли? Её как собаку последнюю гонют, а она сидит. Слазь грю, с печи.

Тетя Мотя хлопнула Клавку рушником по ногам и расходилась, расходилась. Видно вышивка хуже песни оказалась.

– Ножищи щас перебью. На руках домой поползешь собака подзаборная. Ты, чаво нервы мотать прибежала, гуляща стерва! Али как? Не нужна ты яму, слышь, мене. И нам таких наглых не надо. Ты, думаешь, мы тебе поверили, что живот от него. Ты честно лучше скажи с кем нагуляла, может, тот тебя дуру и возьмет.

Клавдюша опустила подбородок на грудь. Поняла – вышивка не спасет. Думала. Деваться ей некуда. Одна она с ребенком не управиться. Позор, опять же какой. А так покричат, покричат, да и привыкнут. Куды бечь...Набегалась она уж в слезах, что живот пухнет, а под венец её Федор не ведет, хоть и знает, что он у ней один и никого ей не надо, акромя него.

Так думала наша Клавка, и радостно ей становилось от этих мыслей, и светло. И даже голова чуть поднялась, а глаза стали смотреть загадочно куда-то вдаль.

– Ты чаво блестяшь как блин, намазанный маслом? Мечтаешь, что ль? О моем сынке, о Федьке? Ни-ни даже не мечтай. Мы яму честную найдем. Без пуза. Скромную. И под венец. А, покуда, молод ешо.

Клавка снова взялась за вышивку. А пусть! Убористо накладывала мулине. И это её тоже радовало. Ноги подобрала под себя, чтоб тетка Мотя не размахивала. И сидит, радуется. Ведь куды ж им деваться. Кровинка-то их в ней. Авось на тетку Мотю будет копия, если сынок так, мож, на самого Федьку. Ах, Федька, Федька! Что ж ты все бегаешь меня? Я ж судьбу и жизнь с тобой связала, а ты что...

– Не пара, слышь, ты яму – не пара. Ты глянь, глянь-то, сходи к зеркалу. Поглядь на себя в зеркале. На кого ты похожа. Дурища-дурищей. Он у меня – любо-дорого, а ты?.. Бегала по деревне босиком, козюли в носу ковыряла. Ты думаешь, я тебя с малолетства не помню? Егозу такую. Помню. Как же. Лучше всех помню. Все за Федькой моим – хвостиком. Беж-и-ит по всей деревне подол задрала. Тьфу – на тебя смотреть, одна срамота...

Клавдия потупила взгляд. И...молчала.

– Рожа. И-и-и рожа у тебя. Ты глянь в зеркало. Вон поди в горнице...Глянь.

Клаша сидела, не шелохнувшись и к зеркалу спускаться, не собиралась.

– Глянь в зе... Слазь с печи. Зараза. Вот пиявка-то прилипла. Ща за бревном пойду, за дубиной. Ты меня знаешь. Но оттель я тебя вышибу. Упрямую.

Тетка Мотя стукнула скалкой по печуре родной, аж известь посыпалась с нее, но до Клашки не достала таки, та со своим мулине юркнула поглубже.

– Ах ты, подлюка. Яё колотют, а она глыбже забирается. Где же твоя совесть? Тебе говорят. Ты откуда така выродилась? Мы ж с твоей мамкой подружками были. Какая мамка у тебя была женщина...

Мотька бросила скалку, и заплакала ручьем...Ей было жаль себя, подругу, которая давно ушла. Да так неожиданно, что и слез не хватило оплакать ее. Смерть ведь не разбирает...

– Тебе ж сапливке было десять лет. А она душа. Скромная. Лишнего не скажет. Умница. А какая коса у неё была, всю жись. Ты, Клавка в папку сваво лысава. А, Василиса-бедняжка, не успела, видно тебя, не довоспитала. Скромность свою не передала.

Мотька стала потихоньку успокаиваться.. Утерла слезы. Висморкалась громко. Вздохнула, как камень с души сняла. И заключила:

– Вот оно видно я с тобой всю жизнь свою и буду мыкаться.

Потом встала к столу. Начала пироги стряпать. А Клавка тихонько спустилась и стала рядышком.

Так тетя Мотя с Клавкой до сих пор стоят, пекут пироги румяные и пышные. Ждут сваво Федьку. Куда им деваться?

Оглавление

Феткино детство. Повесть	4
Рождественская звезда. Рассказ	61
Володька Абалдуев. Сказ	65
Яблоневый Спас. Сказ	81
Бычок. Рассказ	106
Когда плачет Серафим. Рассказ	110
Конный тать. Рассказ.....	120
Дочь Василисы. Рассказ.....	134

Светлана Бондарева

Феткино детство

Повесть

Формат 70x100/32. Бумага офсетная

Печать цифровая. Усл.-печ. л. ____.

Гарнитура PT Serif.

Тираж 100 экз.

БИТ-ПРИНТ
ТИПОГРАФИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Отпечатано в Типографии «Бит-принт»

тел.: +7 (985) 459-09-09

почта: info@bit-print.ru,

сайт: www.bit-print.ru

Москва, ул. Шипиловская, 17к3